

ХРОНИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В «ЖЕНСКОМ ВЕСТНИКЕ» (1867)

Хроника «Новости петербургской жизни», опубликованная в майском — сентябрьском номерах журнала «Женский вестник» 1867 г., подписана буквой С. Сопоставление ее с известными произведениями Слепцова и изучение материалов, связанных с его участием в «Женском вестнике», позволяют сделать заключение: *хроника написана Слепцовым*. Это обстоятельство оставалось до сих пор неизвестным. Причина этого в том, что автор сам ввел в заблуждение своих современников и будущих исследователей.

25 сентября 1866 г. цензура выдала разрешение на выпуск в свет первого номера нового ежемесячного журнала «Женский вестник». Издательницей была А. Мессарош, официальным редактором — ее муж, Н. Мессарош, фактическим же — Слепцов, который и открыл первую книжку журнала статьей «Женское дело», помещенной за его полной подписью. А через несколько месяцев, в марте 1867 г., писатель напечатал в газетах «С.-Петербургские ведомости» и «Голос» открытое письмо, в котором заявил: «С 1 же октября (1866 г.) я прекратил всякие сношения с редакцией „Женского вестника“»¹.

Современники и позднейшие исследователи поверили этому заявлению, как ни странно оно было. В этом открытом письме Слепцов сообщал, что три месяца (с июля по сентябрь 1866 г.) он, работая в редакции «Женского вестника», «занимался чтением рукописей, корректур и выбором статей», «входил в соглашение с писателями и приглашал сотрудников; одним словом, занимался организацией журнала». Почему же человек, столь активно принявшийся за «организацию», т. е. редактирование, журнала, всего лишь через пять дней после того как первая книжка его была разрешена цензурой, «прекратил всякие сношения с редакцией» и почему он счел необходимым объявить об этом лишь через полгода?

Удовлетворительных ответов на эти вопросы письмо Слепцова не давало. Но заявлению писателя все же поверили, тогда как в действительности оно было не чем иным, как мистификацией. Публичное заявление Слепцова об уходе (еще в октябре) из «Женского вестника» было вызвано его стремлением скрыть свое дальнейшее участие в журнале и, в первую очередь, устранить возможность связывать его имя с политически острой хроникой «Новости петербургской жизни» (заявление было сделано накануне выхода пятой книжки «Женского вестника», в которой начиналось печатание хроники). А чтобы письмо было убедительнее, за несколько дней до опубликования его в печати, в камере мирового судьи была разыграна сцена распри Мессарош со Слепцовым. В суде разбиралось дело по иску типографии к издательнице «Женского вестника». Среди присутствующих находился и Слепцов. Воспользовавшись этим «случаем», Мессарош предъявила ему иск на 300 рублей.

Вот как была воспроизведена эта сцена в газетных отчетах:

«К столу подходит госпожа Мессарош, издательница журнала „Женский вестник“, и, подавая мировому судье бумагу, говорит: „Г-н Слепцов задолжал мне 300 руб. серебром. Мне известно, что летом жил он на Черной речке; теперь же я не знаю места его жительства: он его скрывает от меня. Пользуясь теперь тем, что г-н Слепцов находится здесь налицо, я прошу вас, г-н судья, вызвать его и взять от него нужные для меня сведения“.

С у д ь я. Г-н Слепцов здесь? (*Слепцов выходит к столу судьи.*)

С у д ь я. Вот г-жа Мессарош заявляет, что вы должны ей 300 руб. серебром и она остается в неизвестности насчет вашего адреса.

С л е п ц о в. Я ничего тут не понимаю.

С у д ь я. Вы отказываетесь указать место вашего жительства?

С л е п ц о в. И не думал.

С у д ь я. Дело все в том, что г-же Мессарош нужно знать место вашего жительства. Желаете вы объявить его?

С л е п ц о в. Нет никаких причин отказаться.

Судья записывает адрес г-на Слепцова, который уходит за решетку. Г-жа Мессарош остается и говорит, что она, прождавши мирового судью два часа, сделалась больна»².

Это сообщение в газетах давало возможность Слепцову сослаться в своем открытом письме на «несправедливые» требования к нему издательницы и тем самым мотивировать «разрыв» с ее журналом. «Г-жа Мессарош, — писал Слепцов, — заявила судье 14 участка, что я задолжал ей 300 руб. и, не желая уплатить их, скрываюсь от нее. Мировой судья отказался разбирать это дело на том основании, что я, по месту жительства, не принадлежу к его участку. Написать новый иск г-жа Мессарош, вероятно, не решится, потому что не может представить в его пользу никаких доказательств по той простой причине, что я ей вовсе и не должен; жалоба же ее на меня есть чистая выдумка».

История в суде, по-видимому, удивила и взволновала людей, близких писателю. Так, В. З. Воронина просит его объяснить происшедшее. Но Слепцов отказывается сделать это в письме и лишь осторожно намекает в нем на мистификацию: «Дело С〈лепцова〉 и М〈ессарош〉 рассказать в двух словах нельзя, будет непонятно. Дела этого в суде даже и не было; оно не начиналось потому, что М〈ессарош〉 взяла свою претензию назад. Она требовала с него деньги, которые платила ему за редакторство, — а потом отказалась. Вся эта история затеялась вдруг, экспромтом и так же кончилась. При свидании расскажу»³.

Таким образом, Мессарош дала Слепцову, несомненно по его просьбе, возможность не только разыграть сцену в суде, но и напечатать оскорбительное для нее письмо в редакции «Голоса» и «С.-Петербургских ведомостей».

Какие же обстоятельства заставили Слепцова прибегнуть к столь необычным и сильным средствам защиты? Ответ на этот вопрос дают некоторые цензурные материалы и документы III Отделения, а также статьи и заметки в периодической печати 1866—1867 гг. Из «Дела по прошению жены коллежского assessора Ан. Мессарош о дозволении ей издавать в С.-Петербурге журнал „Женский вестник“» узнаем, что издание этого журнала было задумано еще в начале марта 1866 г., т. е. за месяц до выстрела Каракозова и почти за полтора месяца до ареста Слепцова. Но разрешение на это издание было дано лишь в конце 1866 г. При этом Главное управление по делам печати предложило председателю С.-Петербургского цензурного комитета обратить особое внимание цензоров на «Женский вестник» и «Дело», просматривать эти журналы «с особенною тщательностью», так как в них собираются принимать участие бывшие сотрудники «Современника» и «Русского слова»⁴.

11 сентября 1866 г. в газете «Русский инвалид» (№ 232) было напечатано объявление от редакции нового журнала: «„Женский вестник“ будет выходить ежемесячно, книжками от 20-ти до 25-ти печатных листов. Первая книга выйдет в половине сентября настоящего года. В состав ее, между прочим, войдут следующие статьи: 1) „Домашний очаг“, В. А. Слепцова. 2) „В чаду глубоких соображений“, роман в трех книгах, А. Михайлова (<...>. 3) „Записки ипохондрика“, Н. А. Благовещенского. 4) „Медик и пациенты“ (очерк провинциальных нравов), Г. И. Успенского. 5) „Влияние экономического прогресса на положение женщины и семьи“, П. Н. Ткачева...»

В тот же день начальник Главного управления по делам печати Щербинин направил председателю С.-Петербургского цензурного комитета Петрову следующее предписание:

Конфиденциально

Его превосходительству А. Г. Петрову

Милостивый государь Александр⁵ Григорьевич

Я уже лично поручал вашему превосходительству предложить подлежащим цензорам обращать особое внимание на статьи, представляемые к просмотру для разрешенных в недавнее время журналов «Дело» и «Женский вестник».

Уже вследствие имеющихся в Главном управлении по делам печати сведений и напечатанного в № 232 «Русского инвалида» от редакции последнего журнала объявления, в котором положительно поименованы сотрудники этого журнала из числа лиц, принимавших участие в закрытом, по *высочайшему* повелению, за вредное направление, журнала «Русское слово», — я считаю необходимым вновь покорнейше просить

вас, милостивый государь, поручить гг. цензорам просматривать статьи для упомянутых журналов с особенною тщательностью, не допуская ничего, имеющего характер того направления, которое уже осуждено правительством в вышеупомянутом *высочайшем* повелении, и в случае настойчивого преследования редакциями журналов «Дело» и «Женский вестник» такового же направления иметь в виду побуждение означенных редакций к добровольному закрытию сих журналов.

Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности.

М. Щербинин

№ 1832.

11 сентября 1866 года³.

ОТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА

„ЖЕНСКИЙ ВЪСТНИКЪ“.

Женский Вестникъ будетъ выходить ежемѣсячно, книжками отъ 20-ти до 25-ти печатныхъ листовъ. Первая книга выйдетъ въ половинѣ сентября настоящаго года. Въ составъ ея, между прочимъ, войдутъ слѣдующія статьи: 1) Домашній очагъ, В. А. Салтыкова. 2) Въ чаду глубокитъ соображеній, романъ въ трехъ книжкахъ, А. Михайлова (автора романовъ: «Жизнь Шулова», «Гильзы болота» и друг.). 3) Зависки иновѣрника, Н. А. Благовѣщенскаго. 4) Медикъ и пациенты (очеркъ провинціальнаго нравовъ), Г. И. Успенскаго. 5) Вліяніе экономическаго прогресса на положеніе женщины и семьи, П. Н. Ткачева, и другія. Кроме того, въ той-же книжкѣ начнется печатаніе двухъ переводимыхъ романовъ: Віра Уэвниъ, Джорджию Креск, и Руфь, Елизавети Гискели.

Подписка принимается исключительно въ главной конторѣ журнала *Женский Вестникъ*, близъ Владимирской церкви, по Большой Московской улицѣ, въ д. Оржевскаго, кв. № 8 Я. Цена за годовое изданіе 12 руб. 50 коп., съ пересылкою и доставкою 14 руб. За полгода—7 руб., а съ пересылкою—8 руб. сер.

Надвѣтельница А. Мессарош. Редакторъ Н. Мессарош.

3—2

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМЪ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА «ЖЕНСКИЙ ВЕСТНИКЪ»

Среди сотрудников значится Слепцов. Его статья «Домашний очаг», обещанная в объявлении, в печати не появилась и остается неизвестной

«Русский инвалид» от 11 сентября 1866 г.

Щербинин, по-видимому, случайно называет здесь только одно «Русское слово». Почти во всех цензурных документах этого времени рядом с «Русским словом», на первом месте упоминается и «Современник», также, как известно, закрытый в мае 1866 г. «по высочайшему повелению».

Так, в цитированном «деле», по прошению Мессарош, находим «заметки» по поводу первого номера «Женского вестника». Они не подписаны. «Прочитав внимательно первые книжки двух новых периодических изданий (выходящих с разрешения цензурного ведомства)— «Дело» и «Женский вестник»,—пишет безымянный автор, чиновник канцелярии Главного управления по делам печати,—легко убедиться, что они имеют в виду пропаганду тех же самых теорий, развитием которых усердно занимались «Современник» и «Русское слово», ныне запрещенные правительством». Далее в заметках утверждается, что сотрудники «Женского вестника» и «Дела» ставят задачей восстановить один класс общества против другого, опозорить высшие классы, умышленно рисуют положение народа «самыми мрачными красками», делают «постоянные намеки на необходимость преобразования общественного быта на новых, социалистических основах». «Направление это проводится ими с редкою последовательностью от начала до конца в романах, повестях, так называемых статьях научного содержания и в беглых заметках о различных явлениях общественной жизни». Здесь сказано также, что

«Женский вестник» выдвигает на первый план «женский вопрос», который «сделался синонимом разврата». «Псевдо-прогрессисты», — по словам чиновника, — понимают «женский вопрос» «в смысле извращения всех начал, на коих зиждется союз семейный. От первой до последней страницы встречаем мы разглагольствования о „праве женщины на труд“; мы видим ревностные усилия доказать до какой степени нелепы понятия современного нам общества, обрекающего женщину на „бесплодное толчение воды в тесном круге так называемых домашних обязанностей“».

Этот отзыв был доложен министру народного просвещения Д. А. Толстому и заставил его обратиться к министру внутренних дел П. А. Валуеву со следующей запиской:

14 октября 1866 г.

Его превосходительству П. А. Валуеву

Милостивый государь Петр Александрович

В мае текущего года прекращены были по *высочайшему* повелению, административным порядком два периодических органа: «Современник» и «Русское слово», служившие органами социалистических учений того особого, нигде не виданного направления, которое известно в литературе под именем «нигилизма». Мера эта встречена была сочувствием всего благомыслящего общества, ибо наравне с правительством могло оно убедиться в тех страшных последствиях, которые порождаются систематическими нападками на право собственности, явным стремлением опозорить все, что возвышается происхождением, образованием, богатством, и подорвать основы, на которых зиждется союз семейный. Правительство выразило твердое намерение преградить путь к распространению подобных теорий; люди благонамеренные получили право надеяться, что молодежь наша ограждена наконец от этого губительного яда, который, к несчастью, успел уже обнаружить на нее свое действие.

Между тем в прошлом сентябре месяце появились, с разрешения предварительной цензуры, первые книжки новых журналов: «Дело» и «Женский вестник». Сотрудники их, по большей части те же самые, что были в «Современнике» и «Русском слове» — не удивительно поэтому, что и направление, которое господствует в них, не отличается нисколько от направления двух запрещенных ныне изданий.

Из прилагаемых при сем замоек ваше превосходительство изволите убедиться, что лица, против которых правительство принуждено было прибегнуть к наиболее строгой каре, нашли теперь новое поприще для своей деятельности и направляют ее к тем же преступным целям, которые они имели в виду прежде.

Обстоятельство это кажется мне столь важным, что я позволю себе сообщить о сем на благоусмотрение вашего превосходительства. Приступив к выполнению обязанностей, возложенных на меня государем императором по ведомству народного просвещения, я убежден, что ничем не могу оправдать лучше высокое доверие его величества, ничем не могу служить полезнее интересам нашего народного образования, как решившись твердо ограждать юношество от софистических учений, которые подрывают в нем любовь к серьезному труду и наполняют его ум опасными и нелепыми мечтаниями. Трудную задачу эту вознамерился я выполнить неуклонно, сознавая всю ответственность, которая лежит на мне перед государем императором. Но я опасуюсь, что едва ли старания эти увенчаются успехом, если учения социализма и нигилизма, изгоняемые из школы, будут по-прежнему господствовать в литературе, которая не может не обнаруживать на школу значительного влияния. Чтобы пресечь распространение зла, мне кажется необходимым отнять у него все средства действовать на общественное мнение.

Зная, что разумные охранительные начала всегда находили в вашем превосходительстве ревностного поборника, я уверен, что вы изволите оценить справедливость изложенных мною соображений и не откажете принять меры касательно неблагонамеренной пропаганды журналов «Дело» и «Женский вестник». Примите уверение в истинном почтении и совершенной преданности.

Граф Дмитрий Т о л с т о й

На полях рукою Валуева: М. П. Щербинину. Буду ожидать от вас проекта отзыва гр. Толстому.

Другою рукою, ниже: Записка гр. Толстого передана В. М. Лазаревскому для составления журнала по «Женскому вестнику». 22 ноября, № 2466 ⁶.

Результат обращения Д. Толстого к Валуеву не замедлил сказаться. По предписанию начальника Главного управления по делам печати Щербинина, Цензурный комитет постановил (в конце ноября 1866 г.) «подвергнуть гораздо более строгому и согласному с конфиденциальной инструкцией г. министра просмотру книжки „Женского вестника“⁷. Вследствие этого журнал был поставлен в особенно трудное положение. За полтора года (с сентября 1866 г. до начала 1868 г.) вышло всего десять номеров. «Меры предосторожности, предписанные высшим начальством»⁸, заставляли цензоров особенно придирчиво докладывать о «Женском вестнике» на заседаниях Цензурного комитета, что задерживало выпуск книжек. Обычная практика объяснений издателей с цензорами была запрещена. Цензору Де-Роберти, разрешившему первую книжку, было сделано замечание, так как уже в ней усматривалась попытка пропагандировать идеи Фурье и нигилизм.

Представленный в цензуру второй номер журнала заставил Главное управление по делам печати высказаться за желательность прекращения издания: «По недоверию, возбужденному в высших правительственных сферах деятельностью издателей „Женского вестника“, желательно было бы, конечно, чтоб издание этого журнала прекратилось, но достигнуть этого цензурными мерами возможно будет только тогда, когда зловредное направление означенного издания выразится более ясными чертами»⁹.

То, что «Женский вестник» все же не был запрещен цензурой, секретные осведомители III Отделения объясняли интимными отношениями А. Мессарош с Валуевым: «Рассказывают, что издаваемый супругами Мессарош журнал „Женский вестник“ предполагалось было прекратить, но что его поддерживал г. министр внутренних дел, который будто бы находится в близких отношениях с г-жей Мессарош»¹⁰.

В результате установленных для журнала особенно строгих цензурных требований из него были изъяты до начала 1868 г. главы романа А. Михайлова «В чаду глубоких соображений», повесть К. Кованько «Впотьмах», статья Н. А. Александрова «Скользкий путь новых романистов» и др. Цензорам было вменено в обязанность обращать внимание «не только на отдельные выражения, но и на общий характер каждой статьи и, наконец, вообще на группировку статей, входящих в один и тот же номер»¹¹.

Издательница пыталась было объясниться в Цензурном комитете, но в дело вмешалось III Отделение, и с супругов Мессарош была взята подписка «в том, что они, по предмету издаваемого ими журнала, не будут отныне обращаться ни в Главное управление по делам печати, ни в Цензурный комитет и вообще ни в какое другое правительственное административное учреждение лично с просьбами, жалобами, претензиями или какими бы то ни было другими личными домогательствами»¹².

Приведенные документы характеризуют ситуацию и разъясняют обстоятельства, заставившие Слепцова прибегнуть к мистификации. Напрашивается такой вывод: Слепцов знал, что «Женский вестник» взят под особое подозрение властей; его как фактического организатора и редактора журнала мог предупредить об этом Некрасов, которого, в свою очередь, информировал, вероятно, член совета Главного управления по делам печати В. М. Лазаревский, составлявший доклад по «Женскому вестнику»¹³. Руководящее участие в журнале Слепцова, только что привлекавшегося по делу Каракозова, бывшего сотрудника «Современника», усугубляло положение. Разыграть уход из журнала — значило, быть может, спасти его; оставшись же негласным сотрудником, можно было, поддерживая журнал, не навлекать на себя подозрений.

В программной статье «Женское дело», которой открывалось издание, Слепцов писал о необходимости приложить «терпение и добросовестность», чтобы достичь успеха. Он отдавал себе отчет в том, что придется преодолевать препятствия и «недоброже-

лательство со стороны самой солидной части общества». Он писал: «задача этого дела, несмотря на свой специальный характер, клонится к пользе всех людей вообще <...> Такое дело может смело требовать от человека, чтобы он отдал ему все силы. Этому делу и мы желаем посвятить всю нашу деятельность» (см. ниже, стр. 276).

Как видим, Слепцов, горячо высказавший это убеждение, не капитулировал перед встретившимися трудностями, как это до сих пор представлялось, а лишь «ушел в подполье», сделал невидимым для враждебных глаз свое участие в журнале.

Впрочем, кое-кто из современников Слепцова догадывался, что он продолжает участвовать в «Женском вестнике». Так, реакционный критик Н. Соловьев, сотрудник «Всемирного труда», давая обзор журналистики 1867 г., уверял читающую публику: не так уж много «отрицателей», если одни и те же лица (Слепцов, Решетников, А. Михайлов, Успенский), бывшие сотрудники «Современника», «Русского слова», работают одновременно в «Женском вестнике» и других изданиях¹⁴.

Слепцов стремился нейтрализовать подобные «догадки». Когда, например, А. Жемчужников в мае 1867 г. намекнул в «С.-Петербургских ведомостях» на существование «соредактора» в «Женском вестнике»¹⁵, Слепцов тотчас же, во второй статье «Новостей петербургской жизни», откликнулся на это сообщение, назвав его «инсинуацией».

* * *

«Обещанная в этой книжке статья В. А. Слепцова „Домашний очаг“ отложена до следующих книжек», — читаем в первом номере «Женского вестника». Статья была обещана редакцией в цитированном выше объявлении, напечатанном в «Русском инвалиде» (11 сентября 1866), на которое обращено было внимание цензуры. Статья эта так и не появилась в печати, неизвестна она и до сих пор. У нас имеется свидетельство, что статья была задумана писателем еще до ареста, в пору, когда возникла мысль об издании «Женского вестника» (в начале 1866 г.). В бумагах Слепцова, взятых у него при аресте, на одном из чистых листов, имеется такая запись:

Домашний очаг

3. Дом.

2. Деньги.

1. Слуги.

Домашний очаг¹⁶.

Нет сомнения, что это план статьи «Домашний очаг». Ясно также, что статья была написана Слепцовым или начата после освобождения из тюрьмы, но «отложена до следующих книжек». Потому ли отложена, что редакция опасалась цензурных преследований анонсированной слепцовской статьи или просто потому, что статья не была готова — сведений нет. Вместо «обещанной» статьи был опубликован в журнале цикл статей под названием «Новости петербургской жизни»; о нем не говорилось заранее читателям, и появился он не в первых двух книжках, а в №№ 5—9, т. е. после заявления Слепцова о разрыве с «Женским вестником».

В новом цикле, как и в «Провинциальной хронике» (см. выше, стр. 186—204), Слепцов выступает под маской «благонамеренного человека»: «Я весьма добродушный и снисходительный молодой человек. Это вы увидите из дальнейшего чтения». Познакомившись внимательно с «Новостями петербургской жизни», читатель поймет скрытую иронию, поставит под сомнение «добродушие и снисходительность», как и неопытность автора: «Я молодой и совершенно неизвестный литератор», «Я мелкая сошка в литературном мире». Слепцов и здесь «обманывает» читателя. Мистификация — один из приемов Слепцова-публициста и художника; к нему он прибегает и в «Петербургских заметках», где также сообщает о себе недостоверные биографические сведения. «Я тоже родился в Петербурге», — заявляет там Слепцов, хотя на самом деле родиной его является Воронеж¹⁷. «Я видел такую старушенку раз проездом в Сибири <...> это было еще очень давно», — говорит писатель в «Новостях петербургской жизни», хотя он никогда в Сибири не был.

Слепцов сознательно «сбивает с толку» читателя, давая о себе недостоверные, противоречивые сведения, говоря «полуправду».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СЛЕПЦОВА С
ИЗВЕЩЕНИЕМ О ПРЕКРАЩЕНИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА В ЖУРНАЛЕ
«ЖЕНСКИЙ ВЕСТНИК»

«Голос» от 15 марта 1867 г.

Издательница «Женского Вѣстника», г-жа Мессарошъ, заявила мировому судѣ 14-го участка, что я задолжалъ ей 300 руб. и, не желая уплатить ихъ,—скрываюсь отъ нея. Мировой судья отказался разбирать это дѣло на томъ основаніи, что я по мѣсту жительства не принадлежу къ его участку. Начинать новый искъ г-жа Мессарошъ, вѣроятно, не рѣшится, потому что не можетъ представить въ его пользу никакихъ доказательствъ, по той простой причинѣ, что я ей *owes* и не долженъ; жадоба же ея на меня есть чистая выдумка.

Впродолженіе трехъ мѣсяцевъ (іюль, августъ, сентябрь) я работалъ въ редакціи «Женского Вѣстника»: я занимался чтеніемъ рукописей, корректуръ и выборомъ статей; кромѣ того, входилъ въ соглашеніе съ писателями и приглашалъ сотрудниковъ; однимъ словомъ, занимался организаціею журнала. За эту работу я получалъ, по условію, 100 руб. въ мѣсяцъ и въ полученіи этихъ денегъ выдавалъ г-жѣ Мессарошъ росписки. Это могутъ засвидѣтельствовать трое главныхъ сотрудниковъ «Женского Вѣстника»: гг. Благовѣщенскій, Михайловъ (Шеллеръ) и Ткачевъ. Кромѣ этихъ денегъ, которыя мною заработаны, я отъ г-жи Мессарошъ не получилъ ни одной копѣйки. Съ 1-го же октября я прекратилъ всякія сношенія съ редакціей «Женского Вѣстника».

В. Савиновъ.

Автор хроники «Новости петербургской жизни» сообщает: «...тут считаю приличнымъ заметить, что пишу прелюхныя стихи, впрочемъ не хуже стиховъ К. Случевского и лучше стиховъ Варвары Анненковой». Эти слова исполняютъ двойную функцію. Они уязвляютъ названныхъ поэтовъ и скрываютъ фактъ принадлежности хроники Слепцову. Лишь немногіе современники знали, что онъ пишетъ стихи¹⁸. Правда, во вступленіи къ «Скромнымъ упражненіямъ» писатель обещалъ писать «все, что <...> вздумается», не только сцены, размышленія, очерки, но «даже и стихи» (II, 332), однако ни въ этомъ произведеніи, ни въ другихъ стихи за подписью Слепцова не появлялись. И потому наличие стихотворныхъ текстовъ въ «Новостяхъ петербургской жизни» могло вызывать сомнѣніе въ принадлежности Слепцову этой хроники даже у техъ, кто склоненъ былъ считать ее слепцовской.

Рецензенты, подвергая критикѣ произведеніе Слепцова, не называли имени его автора. Приведемъ одинъ изъ отзывовъ, въ которомъ весьма выразительно, съ позиций идейнаго противника Слепцова, определено содержаніе хроники: «Стоитъ только прочесть въ 5-мъ и 6-мъ нумерахъ „Женскаго вѣстника“ „Новости петербургской жизни“, заметки скромнаго (въ сущности, совсемъ нескромнаго) человека, писанныя, впрочемъ, не безъ таланта, чтобъ ужаснуться тому циническому аскетизму, какимъ отличается мирозозерцаніе автора этихъ заметокъ. Онъ доказываетъ, подобно автору „Бессилія умственной бедности“, всю непроходимую пустоту нашего общества. По мнѣнію автора, русское общество прежде всего скучаетъ и только скучаетъ; желая чѣмъ-нибудь заняться, оно всецело отдается праздности, скуке и пустякамъ. Пустяками считаетъ авторъ все безразлично: и драму гр. Толстого, и литературную полемику, и интерес, который общество принимаетъ въ деятельности ли новыхъ судебныхъ установленій или въ какомъ-либо выходящемъ изъ обыкновеннаго уголовномъ случаѣ, и восторженный приемъ славянъ, и русскую поэзію, которая облеклась нынѣ, по его мнѣнію, въ ливрейную одежду. Вообще все русскіе деятели кажутся ему швейцарцами, т. е. лакеями; литераторы и журналисты — *флюгарками*, которые, „поднявъ свои бесстыжыя головы, хозяйничаютъ совершенно безнаказанно, потому что нѣтъ теперь надъ ними сильной полемической *палки*, которая ихъ жестоко била когда-то“. Но совершенно сходясь,

по-видимому, со взглядами на женский вопрос самой редакции журнала, которая совершенно основательно главным назначением женщин считает все-таки их назначение быть прежде всего матерью, автор „Новостей петербургской жизни“ весь женский вопрос, как кажется, в том только и понимает, чтоб женщинам предоставлено было заниматься такими же общественными работами, какими занимаются и мужчины, и чтоб им позволено было употреблять, если вздумается, выражение „на какого рожна“ и тому подобное¹⁹.

* * *

Цикл «Новости петербургской жизни» состоит из пяти статей. Выбор материала, его расположение под определенным углом зрения, уже сами по себе доказывают, что принадлежит этот цикл не «молодому литератору», не «мелкой сошке в литературном мире», а зрелому, опытному писателю.

Заглавие и подзаголовок цикла («Новости петербургской жизни. Скромные заметки»), содержание, манера изложения близки к другим публицистическим произведениям Слепцова: «Петербургским заметкам», «Скромным упражнениям». Характерно вступление, в котором автор делится с читателем своими намерениями: «Я собираюсь ежемесячно сообщать читателям „Женского вестника“ о тех явлениях, которые у нас зовутся общественной жизнью». Сравним эти слова со вступлением к «Скромным упражнениям»: «Это я, собственно, намеревалась упражняться, — один. Под этим заглавием я желаю помещать многое» (II, 332), к циклу «Провинциальная хроника»: «Приступая к провинциальной хронике, считаю долгом предупредить читателя, что никаких тенденций, обличений, а тем более скандалов в моей хронике он не встретит. Я намерен просто представить столичному читателю картину современной общественной жизни в провинции» (см. стр. 186 настоящего тома).

Хотя в заглавии оговорено, что речь пойдет о новостях *петербургской* жизни, однако в своих обобщениях, основанных на превосходном знании жизни современного русского общества, автор выходит за пределы Петербурга к «российской нелогичности», создает поразительно смелый образ всей России, находящейся в очередной полосе реакции. Слепцов делает экскурсы в прошлое, он сближает времена крепостного права с современностью, тем самым разрушая представление о *новостях* петербургской жизни (история с помещиком-эксцентриком, эпизод с помещицей, которая задает «дранцию»).

Порою воспроизводит писатель жизнь провинции — серенького русского городка — и становится ясно: он далек от тех современников (быть может, здесь имеются в виду даже революционеры, члены «Земли и воли»), которые, видя, что «плоха на столицу надежда», возлагали все свои надежды на провинцию.

В хронике, как и в других произведениях, написанных в жанре обозрения, Слепцов пронизывает разнородный материал единой мыслью. Здесь — в «Новостях петербургской жизни» — это мысль об «анормальной жизни» в России в условиях существующего социально-политического строя. Сменяются, как в калейдоскопе, сценки, кадры, лица, невеселые пейзажи, «курьезные» случаи, но эти «частные», конкретные зарисовки ведут к широким обобщениям. Внешне не связанные между собой эпизоды (сцена в канцелярии, в квартире коломенского чиновника, в ресторане Палкина и др.) служат, как в «Петербургских заметках», в «Ненастном дне», единой цели: созданию общей картины современной русской жизни, находящейся в полосе реакции.

В хронике воспроизводится атмосфера деспотизма, шпионажа, лакейства («все мы швейцары»), пассивности, пустоты, одуряющей скуки («непроходимая одурь нападает на моих сограждан»), гастрономического разврата), прикрытого «ханжеством и лицемерием». Перед читателем вырисовывается и сам автор — не сторонний равнодушный «обозреватель», а человек мыслящий и чувствующий. «Хроникер» негодует и сочувствует, издевается и шутит, рассуждает и мечтает.

Писатель разоблачает власть имущих и газетных «флюгарок», тех, кто возбуждает в русском обществе повиннистические, верноподданические настроения (показывают «Жизнь за царя» и освистывают польский танец), закрывает воскресные школы

(«школу-то закрыли... еще не то будет»), преследует женщин, стремящихся к образованию (проект Муравьева выдать нигилисткам «желтые билеты»), покровительствует антинигилистической литературе.

Автору «Новостей петербургской жизни» претит либерализм во всех формах. Он видит, что удовлетворенность «каплями», «крохами» делается знаменем времени, что призыв: «Кайтесь!» становится лозунгом реакционной поры (имеется в виду резкое поправление либеральных элементов дворянского и буржуазного общества после польского восстания 1863 г. и выстрела Каракозова в 1866 г.). Писатель выступает против пропагандистов социального смирения, против апологетов либеральных идей («идти тихохонько»), придававших решающее значение гласному суду («кукольной комедии»), земским учреждениям и проч. Он угадывает, что между ними и реакционерами, готовыми уничтожить «поскребки гласности», не такое уж большое отличие. И те и другие — враги «измов», т. е. коммунизма, социализма, демократизма, «нигилизма»; и те и другие запугивают этими «измами» «бедный русский люд», создавая даже в этих целях новые словечки: например, «энгелизм»²⁰.



В «Новостях петербургской жизни» нарисована картина экономического положения разоренной «бедной России» и способы, к которым прибегает правительство, чтобы выйти из денежных затруднений: продажа Аляски Америке, внутренние займы, лотереи и т. д.

Из многих частных вырисовывается также картина политической жизни: колонизация царским правительством Средней Азии (прибытие ташкентской депутации), враждебные отношения с Турцией, стремление создать под эгидой русского царя объединенное славянское государство, панславистские настроения официальных кругов (торжественные встречи славянских делегаций, сбор пожертвований в пользу канديотов — христиан на Крите), поддержка монархических тенденций в других странах: «А Максимилиана-то... Ужасно!.. — Что-то Австрия скажет?» В этих словах передано сочувствие реакционной части общества императору Мексики, австрийскому эрцгерцогу, казненному мексиканскими республиканцами. Современники Слепцова ассоциировали это событие с другим, происшедшим почти одновременно: покушение Березовского в Париже на Александра II. Точно так же упоминание о прибытии в Петербург американской делегации вызвало у современников определенные представления: «дружественные» иностранные державы выражали свое сочувствие Александру II по поводу «чудесного избавления» его от выстрела Каракозова.

Писатель то и дело напоминает о демократических силах, противодействующих самодержавию и реакции в России и за ее пределами. В хронике есть прямые указания и завуалированные намеки на «нигилистов» в России, республиканцев в Мексике, гарибальдийцев в Италии, на выступление против действий правительства в Англии: «...в Англии <...> общественное мнение занято весьма серьезными делами»; «Недавно в Лондоне был проктрирован билль о реформе и при этом...». Очевидно, что здесь имеется в виду билль об избирательной реформе, дебатировавшийся в Палате общин и принятый в середине 1867 г. в палате лордов. Несколько расширил число избирателей (за счет мелкой буржуазии), билль не дал избирательных прав широким народным массам и вызвал протест рабочих, студентов (манифестации, митинги в Гайд-парке).

Писатель показывает, что в России нет возможности вести даже такую ограниченную борьбу народа за свои права и свободу. Однако автор «Новостей петербургской жизни» не только констатирует тяжелое экономическое положение русского народа в «голодный» 1867 год («теперича сдыхай», овес «дорог», «скотина все падает»), бесправие простого человека («обсчитали», «вдарят в скулы»), пренебрежение к массам со стороны привилегированных сословий, но видит, что народ «вынашивает в своем сердце ингенсивный протест».

С горечью говорит Слепцов о том, что в России «нет фамилии, подобной» Гарибальди; при этом подчеркивается, что речь идет о Гарибальди — вожде освободительного движения, а не Гарибальди — «генерале от инфантерии» (так называли великого

итальянца либеральные журналисты, которые, по словам Слепцова, «не смеют» сочувственно произносить это имя, но не прочь поспекулировать им, заигрывая с читателями накануне нового года перед подпиской на газеты и журналы).

Слепцов видит, что в России сложились в эту пору крайне неблагоприятные условия для подготовки настоящих деятелей, но он все же сохраняет оптимизм: «Много нищеты и глупости, много безобразия и самовластия, много варварства и лицемерия, но в тумане издалека виднеется что-то другое, в котором нет ничего похожего с первым». Писатель ясно видит, что некоторая, наименее стойкая часть разночинцев испытывает на себе тлетворное влияние реакции, поглощается «мещанством» (переключка с Помяловским — автором «Мещанского счастья», «Молотова»), однако он верит в «честное меньшинство», которое будет противостоять «плохим обстоятельствам».

Обличая реакционные стороны быта столичного общества, Слепцов часто как бы впадает в «щедринский тон». Особенно близок он к Щедрину в сатирической разработке темы «балета», используемого в качестве своего рода символа безыдейной развлекательности, наиболее консервативного («постоянного», по определению Щедрина) рода «бессловесного» искусства, наиболее процветающего в эпохи реакции, в периоды «понижения тона».

Тема балета используется Слепцовым и для сатирической полемики с Е. Н. Эдельсоном и Н. И. Соловьевым — сотрудниками реакционного журнала «Всемирный труд», издававшегося Э. А. Ханом. Так должны быть раскрыты слова автора: «...никогда никто не определял значения балетного дела в России и степень его влияния на цивилизацию. Это была бы весьма интересная статья, которая могла бы напечататься у Хана под покровительством Н. Соловьева». Слепцов имел тут в виду помещенную в критическом отделе (им заведывал Н. Соловьев) названного журнала (1867, №№ 1—3) статью Эдельсона «О значении искусства в цивилизации», направленную против эстетики Чернышевского.

Наряду с Эдельсоном многократно упоминаются в хронике Слепцова и другие сотрудники «Всемирного труда», в частности, В. П. Авенариус и Вс. Крестовский, авторы «антинигилистических романов», печатавшихся в художественном отделе журнала.

Значительное место уделяет Слепцов борьбе с пропагандой шовинистических и панславистских идей, которую вел «Всемирный труд». В хронике разоблачалась, в частности, великодержавно-националистическая подоплека призыва «Всемирного труда», обращенного ко всем враждующим партиям: «соединиться в одну общую русскую семью»²¹.

Понимая всю серьезность переживаемого момента, когда верх взяли силы реакции, Слепцов не прощает даже своим старшим друзьям никаких колебаний и слабости. С досадой и горечью говорит он о стихотворении Некрасова «Осипу Ивановичу Комиссарову» («Не громка моя лира...»), написанном в связи с выстрелом Каракозова и напечатанном в апрельском номере «Современника» 1866 г. Хотя до конца дней Слепцов сохранил дружеские отношения с Некрасовым, хотя и в «Новостях петербургской жизни» писатель делает уважительную ссылку на сатирическое стихотворение Некрасова «Отрывки из путевых записок графа Гаранского», но он сурово осуждает попытку издателя «Современника» пойти на компромисс, чтобы спасти журнал. Констатируя начавшуюся эволюцию Суворина («Незнакомца») от демократизма к антинигилизму, Слепцов мимоходом намекает на один напумевший в свое время эпизод из полемики Салтыкова-Щедрина с группой «Русского слова». Фраза «Все мы там будем» — скрытая цитата из салтыковской хроники «Наша общественная жизнь», от 21 января 1864 г.²² Упомянув о «строгом вице-губернаторе» и вспоминая о том времени, когда и «вице-губернаторы стали носить *pinse-pez*», Слепцов также имеет в виду Салтыкова.

Автор «Новостей петербургской жизни» пользуется разнообразными приемами изображения и повествования: описаниями, драматизированной формой, широко развернутым иносказанием (таков, например, рассказ о богатом помещике-эксцентрике и его дворовых, «очень давняя» история, в которой, однако, читатели могли уловить сходство с современностью: поведение помещика-эксцентрика напоминало колебания

правительственной политики в 1850—1860 гг., поведение дворовых — эволюцию угодливой прессы). В хронике создан ряд портретов-гротесков, иные из них по силе сатирической выразительности языка приближаются к щедринским. Таковы, например, изображения человека «с бараньей головой», чиновника Перепелкина, у которого вместо физиономии «заномеровано отношение», и мещанина — деревянного чурбана с отверстием для пицы. Близок к щедринскому и образ дворянского либерального интеллигента, «жениха земской управы»; получив хорошее место, он сменил «либерализм» на убеждение, что «спасение» — в «экзакуции». Слепцов прибегает то к открытой пародии (на стихи Варвары Анненковой), то к тайнописи, понятной лишь определенному кругу его современников. Так, в иронических словах: «честный автор этого честного романа» — единомышленники писателя узнавали автора «Некуда», так как брали на веру слух о причастности Лескова к III Отделению. Современники понимали, к какому органу печати относится такая характеристика: «Издается в *трех отделениях*»; «в *третьем отделении* есть весьма милая статейка о женщинах» (курсив наш. — М. С.). Речь тут шла о реакционнейшем журнальчике Ю. М. Богушевича «Литературная библиотека». Они догадывались также, что эпитет «инвалидный» заменяет название газеты «Русский инвалид», а «северо-восточный морозный ветер» — перифрастическое выражение, характеризующее репрессивную политику царизма по отношению к участникам русского освободительного движения.

Едва ли можно сомневаться в том, что Слепцов сознательно стремился вызвать у читателя ассоциацию с широко популярным в демократических кругах стихотворением Томаса Гуда «Песня о рубашке», когда говорил о несчастных, голодных, усталых девушках-швейях. Писатель намекал при этом не только на английского поэта, ставившего острые социальные вопросы, но и на его русского переводчика — сосланного на каторгу революционера М. И. Михайлова.

ОТЧЕТ
О СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ
ИСКА, ПРЕДЪЯВЛЕННОГО СЛЕПЦОВУ
ИЗДАТЕЛЬНИЦЕЙ ЖУРНАЛА
«ЖЕНСКИЙ ВЕСТНИК» А. МЕССАРОШ

«Санкт-Петербургские ведомости»
от 11 марта 1867 г.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.

Сцены у мирового судьи.

8-го марта, в 7 часов вечера, у мирового судьи 14-го участка все место, отведенное для публики, было переполнено посетителями. В камере становилось жарко. Между тем, свободных месталоко в передней уже давно не было. Некоторым из вновь приходивших посетителей опасалось оставить свои места на нумерованных местах. Таким посетителям было вдвойне жаль. Из-за того, чтобы занять место ближе к рынку, приходила порядочная давка. Вследствие этого распорядились чтобы сторож и впускал новых посетителей. В начале 9-го часа вышел мировой судья.

К столу подходит г-жа Мессарош, издательница журнала «Женский Вестник», и подает мировому судье бумагу, говорит: «Савинов задолжал мне 300 руб. сер. Мне известно, что lately жил он на Чирной Речке; теперь же я не знаю места его жительства: он его скрывает от меня. Пожалуйста теперь тем, что г. Савинов находится здесь налицо, я прошу вас, г. судья, вызвать его и взять от него нужные для меня сведения».

Судья г. Савинов здесь?

Савинов выходит к столу судьи.

Судья. Вот г-жа Мессарош заявляет, что вы должны ей 300 руб. сер. и она осталась в неизвестности насчет вашего адреса.

Савинов. Я ничего тут не понимаю.

Судья. Вы отказываетесь указать место нашего жительства?

Савинов. Я не думаю.

Судья. Дело все в том, что г-же Мессарош нужно знать место нашего жительства. Хотите ли объявить его?

Савинов. Нет никаких причин не

казаться.

Михайлов

Затекшие пальцы болят,
И веки болят на опухших глазах...
Швея в своем жалком отрпье сидит
С шитьем и иглкой в руках.
Шьет — шьет — шьет.
В грязи, в нищете, голодна.
И жалобно горькую песню поет —
Поет о рубашке она...

.....
Не холст на рубашках вы носите, нет!
А жизнь безотрадную швей.
Шей! шей! шей!..

.....
Поплакать бы — легче бы сердцу от слез...
Нет, слезы мои! Не теките!
Иголке моей не мешайте вы шить!
Шитья моего не мочите!

(«Современник», 1860, № 9).

Слепцов

...сидят за работой девушки-
мещанки. Шьют они рубахи <...>
— Мы бы и рады шить, <...> да
платы не хватает на жизнь...
— Шей, шей, шей!..
— Мы и рады бы шить, <...> да
руки коченеют и есть хочется...
— Шей, шей, шей!..
— Мы бы и рады шить, да слезы
подступают к горлу!..

Многие намеки Слепцова без труда расшифровывались современниками, так как они знали, например, что псевдоним «А. Скавронский» принадлежит писателю Г. П. Данилевскому, им были известны статьи П. В. Анненкова «Русская современная история в романе Тургенева „Дым“» («Вестник Европы», 1867, № 6) и Суворина (Незнакомца) «Недельные очерки и заметки» («С.-Петербургские ведомости», 1867, №№ 117 и 124, от 30 апреля и 7 мая) — статьи, в которых авторы восторженно отзывались о новом произведении Тургенева, в то время как в демократических кругах роман встретил отрицательное отношение.

Современникам не трудно было угадать иронию Слепцова в его словах о Карповиче, который будто бы собирается вскоре издавать ежедневную газету для распространения в обществе здравых мыслей касательно ростовщичества. Купец В. Ю. Карпович был характерной фигурой бурного капиталистического предпринимательства первых пореформенных лет. Открыв гласную кассу ссуд, он постарался прикрыть высокими соображениями свои ростовщические цели, даже выдвинул проект о том, как «облегчить народные нужды». «Цель моего предприятия, — уверял он, — есть польза *народная*, главное назначение — служить трудящемуся классу людей»²³. (Конкретным поводом к ироническому замечанию Слепцова послужил, по-видимому, карманный календарь «Пятикопеечник», издание «Первой гласной кассы ссуд». СПб., 1867).

Достаточно было Слепцову только назвать имя Арсеньева и сказать, что дело его слушается в окружном суде, чтоб вызвать у современного ему читателя определенные ассоциации о нравах журналистов, их неблагоприятных поступках. Издатель «Петербургского листка» Зарудный выiscal с редактора Арсеньева крупную сумму денег; газета перешла в руки Зарудного; Арсеньев же, не желая оставлять редакторское поприще, тотчас предпринял новое издание — «Петербургскую газету».

В России (в Петербурге и в провинции) нет *подлинной* общественной жизни, — говорит Слепцов всем материалом своей хроники. «Я знаю жизнь на Невском, жизнь сплетен, жизнь в театрах, жизнь за табелькой, но общественной не знаю и, надеюсь, догадаетесь почему». В «узенький мирок», которым «единственно ограничивается» современная русская общественная жизнь, иронически вводит читателя Слепцов. «Новый год застал нас веселящихся с благотворительною целью», — пишет он, — и мы вспоминаем, как за два года до этого остро высмеял писатель «веселое направление», «ликование», неумеренное увлечение благотворительными спектаклями и балами в «Провинциальной хронике» и в «Скромных упражнениях».

В «Новостях петербургской жизни» показано, что любой политический вопрос (восточный, славянский и др.) воспринимается в обществе и в прессе лишь как очередная сенсация, которая интересна только своей внешней стороной, как повод к увеселениям, обедам, спичам. И потому политическая «злоба дня» уравнивается Слепцовым с сенсационными уголовными историями, так же активно обсуждавшимися в печати («страшное» происшествие на Васильевском острове, дело Шлегель и др.), с толками о бенефициях балерины Гранцовой, певицы Барбо, о танцевальных вечерах Марцинкевича, ледяных балах, балаганах, увеселениях в саду Егарева, о представлениях в пантомимном театре Берга, гастроях немецкого цирка Ренца, о фокусниках-спиритах братьях Давенпортах. Обо всем этом шли оживленные споры, разгорались в газетах бурные страсти, не соответствующие масштабу явлений, их вызвавших. «Так как общество в настоящую минуту частью по близорукости, частью по простоте не находит для себя занятий более или менее серьезных, то ясно, что общественная мысль и обращается на пустяки», — пишет Слепцов.

Читатель убеждается в том, что автор превосходно осведомлен в материалах «смирной прессы российской», что он предъявляет общественной жизни, литературе и периодической печати серьезные требования, критически относится к современным продажным беспринципным журналистам — «наемникам». Слепцов хотел бы видеть организаторов общественного мнения, а перед ним — лакей в барской передней, журналисты, похожие на «Милордку с опущенным после хозяйского дубья хвостом», или на выкормленную левретку. Перед ним «литературная лавочка — журнал тож», а владельцы этой «лавочки» мельче А. Кача — владельца петербургского универсального магазина, рекламы которого высмеивались в «Искре».

Автор «Новостей петербургской жизни» — опытный, искусный полемист, умело владеющий оружием проири и сарказма. В доказательство своего «добродушия», теплоты он приводит такие «доводы»: «Я никогда не говорю громко, что „Гражданский брак“ Черныянского — изрядная мерзость». «Я читал последнюю книжку „Всемирного труда“ со статьей Соловьева и с повестью Авенариуса... Дальше этого идти нельзя... Вы усматриваете, что я не слишком брюзгливый джентельмен». Между тем именно об этих приобретших широкую популярность антинигилистических и «клубничных» сочинениях (пьесе Черныянского «Гражданский брак», повести Авенариуса «Поветрие»), так же как о статьях Соловьева, Незнакомца (Суворина), Х. Л. (Загуляева) — «газетных кликушах», «кумушках» — Слепцов дает самые уничтожающие отзывы, сохраняя видимость добродушия и веселости. В хронике названы прямо некоторые лица, черты которых использовал писатель в обобщающем сатирическом образе Ивана Флюгаркина; на других же лишь намекнул автор, рассчитывая на то, что читатели догадаются, кого именно он подразумевает.

При этом Слепцов часто прибегает к фигуре умолчания: «...рабочий — мужик... О, мужик, тьфу!.. Положим и он человек, но разве Зайцев не писал о неграх?.. И разве Скарятин не доказал, что...»

Автор вызывает этими словами, произнесенными «мудрецами» — умеренными либералами, сложные ассоциации, целый комплекс представлений. «Мудрецы» не прочь бы возратить народ в положение рабов, но прямо говорить об этом в пору «реформ» не принято, приходится прикрывать презрение к народу («мужик, тьфу!») видимостью «гуманности» («и он человек»). Этим «мудрецам», в сущности, близка позиция реакционной газеты Скарятин «Весть», в которой ясно выражалась тенденция: сохранить разделение сословий, ограничить функции земских учреждений (изгнать «опасный плебс»), свести «на нет» гласный суд. Но «мудрецы» понимали, что только на газету, защищающую привилегии крупных землевладельцев-крепостников, ссылаться неприлично; они прибегали к дипломатическому приему: ссылались также на демократические журналы, используя при этом частные разногласия во враждебном им лагере. Такова функция упоминания о Зайцеве. Известно, что в начале 1865 г. «Современник» и «Искра» полемизировали с Зайцевым, сотрудником «Русского слова», именно с его утверждением: негры могут добиться равноправия лишь среди своих собратьев, в Африке, но невозможны равные права их с европейцами. «Отрицать невозможность равноправности негров, — возражал Зайцеву «Современник», — значит отрицать

возможность их свободы, значит утверждать неизбежность их рабства, значит сходить-ся во мнениях с американскими плантаторами»²⁴.

В другом случае, уже от своего имени, Слепцов называет Скарятину рядом с Артобелевским (издателем газеты «Гласный суд»), Юркевичем (Литвиновым) (издателем газеты «Народный голос»), при этом он вновь пользуется фигурой умолчания: «Скарятин хочет..., но кто же не знает, чего он хочет, и кто же не знает, чего они все хотят?» Хотя «Гласный суд» и «Народный голос» постоянно полемизировали с «Вестью» и между собой, но полемика эта была не принципиальной. Дальше умеренно-либеральных воззрений, защиты частных преобразований эти газеты не шли. И все же они подвергались в пору реакции преследованиям, издание газет было приостановлено летом 1867 г. Но этому не следует удивляться, достаточно вспомнить, что даже «Весть» не избежала подобной участи.

Приводя некоторые факты из жизни «простолудинов», газеты «Гласный суд», «Народный голос» претендовали на роль защитников народных интересов. Какое содержание вкладывал «Народный голос» (газета более «правая», чем «Гласный суд») в свою программу, декларированную в начале издания (отражать интересы, желания и надежды народа), можно судить хотя бы по тем его номерам, в которых шла речь о покушении на Александра II в Париже или о предполагаемой продаже Николаевской железной дороги, о выпуске внутреннего займа. От лица «народа» газета выражала верноподданнические чувства: «Русскому грустно читать эти строки. Если правительству нужны деньги, то неужели мы, русские, так горячо любящие царя, *еще не созрели* поддерживать славу и достоинство отечества?» Газета горячо сочувствовала идее искать у народа источник богатств, выпустить «народный внутренний заем»²⁵.

Не ясно ли, почему Слепцов считал возможным уравнивать подобные газеты и их издателей с «Вестью» Скарятин?

Отметим также, что слова: «кто же не знает, чего они все хотят», — могли относиться и к выпадам «Гласного суда», «Народного голоса» против «Женского вестника» и Слепцова, в частности. Так, критикуя программную статью Слепцова «Женское дело», безымянный сотрудник «Народного голоса» пронизировал над «великодушием и самоотвержением» автора; он упрекал его в «туманности» изложения. «Египетскими гиевроглифами, распространенными в последнее время, называет «Народный голос» язык Слепцова, при этом оказывает плохую услугу писателю, высказывая «догадку»: «Впрочем, быть может, это молчание происходит от „независящих от редакции обстоятельств“»²⁶. Сотрудники «Гласного суда» то прямо издевались над «Женским вестником» (например, Ф. Веселкин в статье «Заявление благодарности „Женскому вестнику“»²⁷, которую имеет в виду в своей хронике Слепцов), то намекали на определенных лиц, участвующих тайно в «Женском вестнике»: «Ныне<...> многие писатели избегают чести помещать свои имена на обертках новых журналов»²⁸.

В «Новостях петербургской жизни» отмечена неразборчивость либеральной и реакционной прессы в выборе средств борьбы с сотрудниками демократической печати: «Женского вестника», «Искры».

Рецензент «С.-Петербургских ведомостей», Суворин, делает нелепое предположение, что афиши для балаганов пишет «майор Бурбонов», т. е. сотрудник «Искры» Минаев; критик «Гласного суда» Веселкин ставит «игривый» вопрос: кавалер или дама сотрудник «Женского вестника» — Чуйко.

В одном случае писатель прозрачно намекает на то, что и о нем, Слепцове («Василии Развиваеве»), охотно распространяют бытовые сплетни²⁹. В другом случае — автор «Новостей петербургской жизни» дает понять, что не может ответить публично своим противникам; они же позволяют себе клеветать, хотя знают, что «есть обстоятельства, в которых трудно отвечать прямо на инквизиционные вопросы». Здесь несомненно имеются в виду настойчивые упоминания в современной Слепцову прессе о «Знаменской коммуне». Отрицательное отношение к ней было выражено не только в романе Лескова «Некуда», в пьесе Чернявского «Гражданский брак», в повести Авенариуса «Поветрие», но и в статьях реакционных критиков, бравших под защиту эти произведения, выступавших против «Женского вестника» и других «нигилистических журналов»³⁰.

«Некоторые сотрудники этого журнала, — читаем, например, в «Литературной библиотеке» Богушевича, — имя которых с позором вспомнит история, положили начало учреждению известной Петербургу Знаменской коммуны»³¹. Соловьев во «Всемирном труде» обращает специальное внимание читателя на то, что в романе «Некуда» Лиза Бахарева живет «в одной из коммун, о которых у нас в последнее время шло так много толков», при этом он утверждает, что «дикий дом согласия», «бесшабашная коммуна» и ее организатор зарисованы правдиво: «Да, все это было. Романист <...> держался подлинника жизни <...> Особенно заметно это в изображении предводителя коммуны Белоярцева»³².

Слепцов, незадолго до этого подвергавшийся допросу в III Отделении, где специально интересовались коммуной, разумеется, не мог ответить прямо на выпады против него — организатора коммуны, участника «Женского вестника», автора народных рассказов, повести «Трудное время»³³. Между тем именно в эту пору (1866—1867 гг.) то и дело мелькали в газетах и журналах недоброжелательные утверждения, что Слепцов принадлежит к «обличительно-дагерротипному» направлению; писателю отказывали в способности творить, обобщать, его упрекали в лубочной карикатурности, в создании туманных, фальшивых сюжетов, в цинизме, в натурализме³⁴. «Литературная библиотека» упрекала также сотрудников «Женского вестника» в отсутствии эстетического чувства; «Неделя», узко понимая задачи журнала, высказывала недовольство, что в ряде произведений (например, Г. Успенского, Помяловского, А. Михайлова) вовсе нет речи о женщине или недостаточно глубокое знание женского быта³⁵. «С.-Петербургские ведомости» обвинили участниц журнала и автора «Новостей петербургской жизни» в употреблении «невежественных» резких выражений³⁶.

В качестве анонимного автора Слепцов не мог отвечать на выпады, направленные против него лично и против журнала, которым он фактически руководил. Однако писатель нашел средства защиты.

В подтверждение своих высказываний о беспринципности, мелочности, «лакейском» характере современных журналов и газет, Слепцов пользовался конкретными материалами политической, судебной, театральной хроники именно тех периодических изданий, которые особенно настойчиво боролись с «нигилизмом», а именно материалами из «Голоса» Краевского, «С.-Петербургских ведомостей» Корша («протынки Корша») и прочих³⁷.

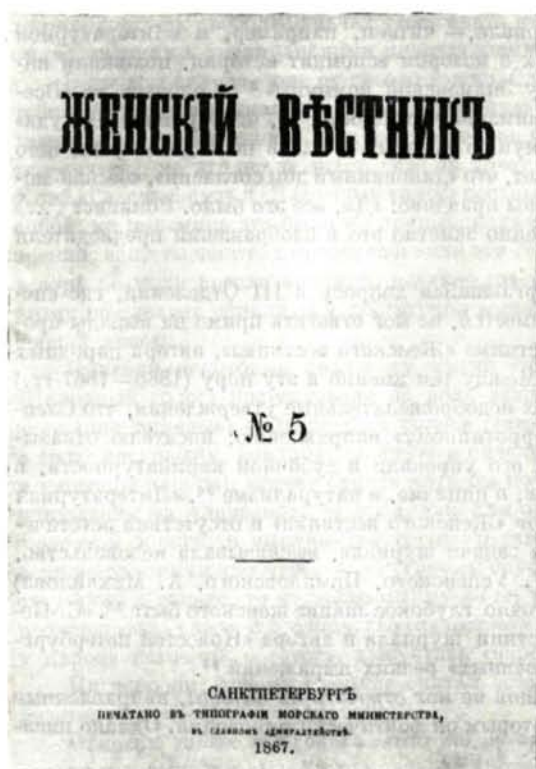
Мы замечаем, что более других изданий достается от автора «Новостей петербургской жизни» этим либеральным газетам и реакционным журналам: «Литературной библиотеке» Богушевича и «Всемирному труду» Хана; чаще других названы Слепцовым сотрудники этих изданий, сознательно искажавшие цели «Знаменской коммуны» и задачи «Женского вестника»: Н. Соловьев, Суворин, Загуляев, Иванов. При этом заметно также, что писатель превосходно осведомлен в литературных биографиях своих противников; он, например, видит начавшуюся эволюцию Суворина; последний, по словам Слепцова, превращается в лакея, в Ивана Флюгаркина. Любопытно, что через девять лет, в июле 1877 г., в одном из писем к Нелидовой, Слепцов выразит удивление, что некоторые современники только теперь заметили «измену» Суворина своим либеральным убеждениям³⁸.

Один из приемов Слепцова-публициста — создание двух планов: подлинной картины современной жизни и картины жизни, «выдуманной» охранительной литературой. Название одной из повестей Авенариуса «Ты знаешь край», напечатанной во «Всемирном труде», и стихи «благонамеренной» В. Анненковой: «Ты знаешь ли тот край обетованный?» (неудачное подражание песне Миньоны из «Вильгельма Мейстера» Гете) Слепцов использует для разоблачения реакционных писателей и поэтов, приукрашивающих действительность. «Добродушный» и «снисходительный» писатель рисует этот «обетованный край» по-иному, он создает картину вопиющей социальной несправедливости. Это край, где «много роскоши, богатства и ананасов, но где в то же время целые области питаются какой-то дрянью, которая из деликатности также называется хлебом», где «новгородцы кушают хлеб из древесной коры» и «финляндцы пекут блинчики из моху» (намек на голод 1867 г.). Это край, где в высшем свете «процветает» разврат, но карается вынужденная нищетою проституция женщин низших классов, где есть

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ХРОНИКИ
СЛЕПЦОВА «НОВОСТИ ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ЖИЗНИ»

«Женский вестник», 1867, № 5

Обложка



лишь видимость гласного справедливого суда, где театр, газеты проникнуты духом лакейства, предназначены для «благородных» сословий. «Трудящиеся люди во все это время работали и не знали, кто лучше, Васильев или Самойлов. Им было некогда. Женщины-работницы во все это время тоже были заняты постоянной работой и не спорили: где лучше декорации, в „Грозном“ или в „Фараоне“... Им было некогда».

Слепцов высмеивает авторов «пасторальных» произведений («хорошо и барину, и барыне... но так же хорошо и рабочему, и работнице»); он разоблачает сознательную ложь продажных журналистов, которые поддерживают официальную версию о России — «благоустроенном государстве», в котором будто бы достигнуто уже «слияние сословий», где народ начинает принимать равное участие в политических событиях (у Слепцова в хронике мужики кричат по заказу «ала», «слава», «ура» ташкентцам, славянам, американцам). В то время, когда либеральные «газетчики» упивались «гласностью», достижениями «прогресса», Слепцов трезво оценивал действительность, показывая сущность «благоустроенного государства», в котором во всех сферах жизни в разных сочетаниях господствуют деспотизм, бесправие, фальшь.

В этом «обетованном месте», — издается Слепцов, — собирают пожертвования на болгар и критян и не обращают внимания на своих голодных мужиков, здесь охотно разрешают газетам обвинять другие страны (например, Турцию) в отсутствии свободы, но при этом самодовольно заявляют: «Наш край диво диво». Здесь нельзя открыто, во весь голос говорить о чудовищном бесправии, но «свободно вполне можешь заявить, что погода дурна, что городские хороши и вежливы, и что страна идет вперед».

В «Новостях петербургской жизни» Слепцов рисует край, где публичное издевательство над детьми называется «весьма смешным зрелищем», а жестокий полицейский надзор — деликатной заботой о спокойствии граждан, где поощряется распространение пошлых сплетен о людях, подрывающих благополучие разжиревших мещан.

* * *

Всем материалом своей хроники Слепцов доказывает несправедливость обвинения «Женского вестника» в том, что он будто бы уделяет мало внимания «женскому вопросу»³⁹. Вопреки этому утверждению недоброжелателей, Слепцов широко и разнообразно представляет и комментирует материалы, характеризующие положение женщины. Автор «Новостей петербургской жизни» заставляет читателя задуматься то над историей девушки, прошедшей путь от швейного магазина до проституции, то над судьбой девочки, танцующей канкан в театре, в балагане на Адмиралтейской площади или в заведении минеральных вод у Излера (здесь же главной приманкой для публики является и одиннадцатилетняя акробатка Жозефина Блонден), то над положением талантливой балерины (Петипа), вынужденной «быть развлечением ловеласов». С грустью знакомит Слепцов читателя со многими судьбами женщин, исковерканных социальным неустройством жизни. Гибнут хорошие задатки, пытливість, наблюдательность, желание узнать правду у тех, кто не противодействует «мещанскому миру», позволяет затянуть себя в тину благополучия.

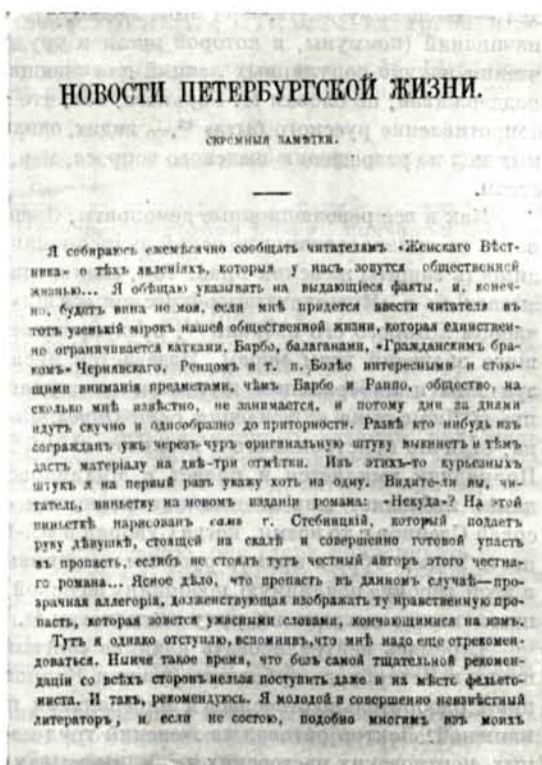
Попутно критикует писатель и современную систему воспитания девушек в семье, в пансионе; на многих примерах показывает он оторванность от практической жизни («милую наивность»), непомерное увлечение нарядами, увеселениями, браки по расчету, умственное и нравственное уродство. Разумеется, с возмущением пишет он о применении к воспитанницам деспотических мер.

Отметим, кстати, что приведенный в хронике случай — классная дама дала пощечину ученице — мог быть рассказан Слепцову Д. И. Писаревым. Этот эпизод произошел в 4-й петербургской гимназии с младшей сестрой критика — Екатериной Писаревой, которой «за дерзость» дала пощечину классная дама А. Н. Львова. Из письма Писарева, обеспокоенного этой историей в 1867 г., ясно, что он в этом году встречался со Слепцовым и вел с ним разговоры о «разных литературных и общественных делах»⁴⁰.

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ХРОНИКИ
СЛЕПЦОВА «НОВОСТИ ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ЖИЗНИ»

«Женский вестник», 1867, № 5

Первая страница хроники



Иронически говорит Слепцов о реакционных писателях и журналистах (Авенариусе, Дьяченко, Бутковском, Соловьеве и других), которые употребляют все средства, чтоб скомпрометируют идею женской эмансипации, доказать, что женщина «не способна к труду», к образованию, к самостоятельности. С горечью пишет он о русском обществе, которое едва ли позволит «г-же Сусловой практиковать в любезном отечестве». С уважением отзываясь писатель о тех, кто по примеру Сусловой и Блекуэль пробивается «сквозь крепкие стены на вольный воздух», «устраивает себе жизнь по своему и, не обращая внимания на змеиное кругом шипение, идет вперед, участь, трудясь». Можно высказать предположение, что такие заметки в «Женском вестнике», как «Елизавета Блекуэль» (1866, № 2) — о первой женщине-американке, получившей степень доктора медицины; «Первая русская женщина-медик» (1867, № 8) — о Н. П. Сусловой; «Фредерика Бремер и ее значение в Швеции» (1868, № 1) — о шведской писательнице и «поборнице так называемого женского вопроса», написаны Слепцовым⁴¹.

Писатель не мог полным голосом сказать в «Новостях петербургской жизни» о женщинах-революционерках; однако, несомненно, он имел их в виду, когда говорил о «честных и чистых созданиях», которых «погубили злые люди». Одну из таких подвижниц, готовых «на большие и тяжелые мучения», разыскивает мать среди «несчастнейших» — ссыльных — в далекой Сибири. Мы узнаем в создании этой «веселой» истории автора повести «Трудное время», о центральной героине которого превосходно сказал М. Горький: «Жена Щетинина — это одна из тех женщин, которые, увлекаемые тревогой эпохи, смело рвали тяжкие узы русского семейного быта и, являясь в Петербург, или погибали в нем, или ехали за огнем знания дальше, в Швейцарию, или же шли „в народ“, а потом — в ссылку, в тюрьмы, в каторгу. Щетинина, может быть, одна из женщин, которые слушали лекции Слепцова, жили в его „коммуне“ и, несомненно, погибли в борьбе за свободу своей страны»⁴².

Множество представленных в хронике Слепцова случаев из жизни девочек, девушек, женщин, множество женских судеб и биографий свидетельствуют о глубоком изучении автором вопроса, о серьезном беспокойстве, раздумьях писателя, решившего отдать «все силы», посвятить «всю деятельность» одному из важных общественных дел — «женскому делу». При этом важно, что Слепцов, являясь инициатором многих начинаний (коммуны, в которой жили и трудились женщины, общества переводчиц, чтения научно-популярных лекций для женщин, литературно-музыкальных вечеров), поддерживая, по словам М. Горького, все, что «позволяло условия времени и стойкое сопротивление русского быта»⁴³, — видит, однако, весьма ограниченную роль современных мер по разрешению женского вопроса, мер, порою санкционированных правительством.

Как и все революционные демократы, Слепцов боролся не только с обскурантами, вовсе не признававшими женской эмансипации, но и с либералами, создававшими видимость защиты женских прав. Так, «палиативными мерами благотворительности» называет он в «Новостях петербургской жизни» общество пособия бедным женщинам, членом которого его избрали⁴⁴, предупреждает читателя, чтоб тот не придавал большого значения этим мерам. Издается писатель над увлечением сентиментальных зрителей и либеральных журналистов «гуманными идеями» мадам Обре — героини пьесы Дюма-сына «Убеждения г-жи Обре». Выразителем у Слепцова образ подрядчика, отлично пристроившего в воспитательный дом своих «незаконнорожденных» детей. Подрядчик умиляется и плачет в Михайловском театре, глядя, как «сердобольная дама» избавляет мир от «падших» женщин и «незаконнорожденных» детей. Это зарисовал Слепцов в то время, когда Суворин в «С.-Петербургских ведомостях» ставил личность мадам Обре в пример русским женщинам⁴⁵, а сотрудник «Голоса» усматривал в этой героине подлинную поборницу женской эмансипации и выражал опасение, что пьеса может сыграть на руку нигилистам⁴⁶.

Стремясь нейтрализовать влияние «нигилистических идей», правительство разрешило в Петербурге публичные лекции Карповича по женскому вопросу. К этим лекциям одобрительно отнеслась и либеральная печать⁴⁷. Они были изданы отдельной книжкой. Лектор ратовал за женский труд на ткацких, табачных фабриках, в шляпных, портновских мастерских и т. д., призывал светских женщин «снизойти сочувствен-

но к положению женщины или девушки, поддерживающей тяжелым трудом свое существование». Следуя моде и выступая защитником «женского труда», Карпович, однако, поспешил отделить себя от «нигилистов», от тех, кто проповедует «коммунистические стремления», «гражданские перевороты разного рода»⁴⁸.

«Литературная библиотека» Богусевича заявляла в статье по поводу «Женского вестника»: «За исключением гг. Соловьева и Карповича, всякий специалист по женской части есть нигилист»⁴⁹.

Но не узким «специалистом по женской части» являлся автор «Новостей петербургской жизни», незадолго до этих фельетонов создавший повесть «Трудное время». Подобно Чернышевскому, Добролюбову, Щедрину⁵⁰, он предстает перед нами писателем-политиком, глубоко осознавшим, что «женское дело» — лишь одно из общественных дел и что решить его невозможно без решения других социальных проблем. Именно поэтому, приглашая сотрудников и выбирая статьи для «Женского вестника», принял он вызвавшую тревогу цензуры статью Ткачева «Влияние экономического прогресса на положение женщины и семьи». Именно поэтому писал Слепцов в своей программной статье о том, что «женское дело», «несмотря на свой специальный характер, клонится к пользе всех людей вообще»⁵¹. Именно поэтому большую часть своей хроники «Новости петербургской жизни» посвятил он разоблачению всех отрицательных сторон современной действительности, хотя и утверждал, мистифицируя читателя, что создал «панегирик» петербургской жизни.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ «С.-Петербургские ведомости», 1867, № 73, от 15 марта; «Голос», 1867, № 74, от 15 марта.

² «Голос», 1867, № 69, от 10 марта («Судебная хроника»). См. также «С.-Петербургские ведомости», 1867, № 69, от 11 марта («Сцены у мирового судьи в Петербурге»).

³ Письмо Слепцова к В. З. Ворониной от 3 мая 1867 г. — ЦГАЛИ, ф. 479, оп. 1, ед. хр. 17, лл. 6—7.

⁴ ЦГАИЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 405, л. 17.

⁵ «Дело С.-Петербургского цензурного комитета, 1866 г., по изданию женою отставного коллежского ассессора Мессарош журнала „Женский вестник“». Началось 2 июля 1866 г., кончилось 21 февраля 1868 г. (ЦГАИЛ, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 86, л. 9).

⁶ Там же, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 405, лл. 29—44.

⁷ Отношение начальника Главного управления по делам печати М. Щербинина С.-Петербургскому цензурному комитету от 27 ноября 1866 г. — Там же, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 86, лл. 28—30.

⁸ Там же, л. 25.

⁹ Из журнала совета Главного управления по делам печати от 28 ноября 1866 г. — Там же, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 405, лл. 70—72.

¹⁰ «Агентурные записи о наблюдениях за журналом „Женский вестник“ и его издателями супругами Мессарошами». Началось 19 ноября 1866 г., кончилось 10 марта 1867 г. (ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 2044, л. 1).

¹¹ ЦГАИЛ, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 86, л. 29 об.

¹² Отношение генерал-адъютанта Шувалова министру внутренних дел Валуеву от 14 декабря 1866 г. — Там же, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 405, л. 84.

Приведем еще один документ относящийся к участию Слепцова в «Женском вестнике» — агентурное донесение, датированное 31 января 1867 г.:

«В начале прошлого 1866 года по высочайшему повелению запрещены к изданию два больших литературных журнала „Современник“ и „Русское слово“, вследствие вредного их направления. Сотрудники этих двух ежемесячных изданий, пользовавшихся не малым сочувствием публики, в особенности в кругу молодежи, с закрытием этих журналов лишились того источника материальных выгод, который при хорошем положении дел редакции „Современника“ и „Русского слова“ их вполне обеспечивал.»

Лишенные средств к дальнейшему существованию, они стали приискивать способы, не отступая от своих убеждений, продолжать литературное дело. Последствием этого было возникновение двух новых литературных органов: 1) журнала „Женский вестник“, издаваемого супругами Мессарошами, и 2) журнала „Дело“, издаваемого номинально под редакцию Николая Шульгина, но на самом деле редактируемого бывшим редактором запрещенного „Русского слова“ Григорием Благо-светловым.

Несмотря на то, что оба эти издания выпускаются в свет с предварительной цензурой, направление их ничем не отличается от направления, которое преследовалось в журнале „Русское слово“ и отчасти „Современник“.

Личность редактора Мессароша, бывшего камер-юнкера двора его императорского величества, не отличается особыми способностями; гораздо выше его по характеру и энергии жена его, женщина бойкая и очень не глупая.

Из числа сотрудников „Женского вестника“ наиболее обращают на себя внимание литераторы Слепцов, Благовещенский, Шеллер под псевдонимом А. Михайлов, люди весьма даровитые, поддерживающие своими трудами это погибающее издание.

Средства к изданию этого журнала крайне ограничены, и в настоящее время их у Мессарошей вовсе нет. Подписка на журнал идет вяло, и нет никакого сомнения, что „Женский вестник“ в непродолжительном времени сам собою прекратится.

Поэтому правительству нет никакой надобности в настоящее время запрещать это издание...

На полях документа помечено: «Доложено и принято к сведению 1 февраля» (ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 2044, лл. 2—3).

¹³ ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 405, лл. 51—58. — То, что Лазаревский информировал Некрасова и Салтыкова-Щедрина в конце 1860—1870-х годов о настроениях в цензурном ведомстве, о предстоящих репрессиях и т. д., документально доказано в работе Б. В. Папковского и С. А. Макашина «Некрасов и литературная политика самодержавия». — «Лит. наследство», т. 49-50, 1949, стр. 429—532.

¹⁴ Н. И. Соловьев. Русская журналистика в 1867 г. — «Всемирный труд», 1868, № 1, стр. 152; № 2, стр. 94.

¹⁵ А. Жемчужников. Русские журналы. — «С.-Петербургские ведомости», 1867, № 121, от 4 мая.

¹⁶ ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, л. 66а.

¹⁷ Прибегал к такому приему и Салтыков-Щедрин: «Я семнадцать лет не был в Петербурге», — сообщает он в статье «Петербургские театры» (1863) явно недостоверный биографический факт (Щедрин, т. V, стр. 175).

¹⁸ Знали об этом только самые близкие ему люди: мать Ж. А. Слепцова (см. биографию Слепцова, написанную его матерью, в книге К. И. Чуковского «Люди и книги шестидесятых годов». Л., 1934, стр. 306) и Л. Ф. Нелидова (в письме к Слепцову от 15 июня 1875 г. она писала: «Пожалуйста, напишите мне ваши стихи; они мне ужасно понравились»). — ЦГАЛИ, ф. 479, оп. 1, ед. хр. 5, л. 6. Слепцов ей отвечал на это: «Стихи в другой раз» — там же, ф. 334, оп. 1, ед. хр. 271, л. 143). О стихах Слепцова Нелидова упоминает и в романе «На малой земле» — там же, ед. хр. 12.

¹⁹ «Голос», 1867, № 163, от 15 июня. Названная в этой рецензии статья с «ядовитым заглавием» — «Бессилие умственной бедности» принадлежит Н. В. Шелгунову. Она была напечатана в «Деле», 1867, № 3, стр. 188—202; за подписью: Н. Р.

²⁰ Здесь Слепцов использует случай с неким контр-адмиралом Арбузовым, о котором было рассказано в газете «Гласный суд». Арбузов предъявил иск портному на 18 руб. Мировой судья, не считая требования истца основательными, отказал ему. Тогда Арбузов подал жалобу на судью, обвинил его в неуважительном отношении к столбовому дворянину и контр-адмиралу. Арбузов возмущался, главным образом, тем, что судья, не считаясь с положением, титулом, заслугами, уравнил его, контр-адмирала, с каким-то мещанином-портным. Арбузов это объясняет влиянием революционеров, распространяющих ложную идею равенства. В «Гласном суде» были переданы некоторые слова Арбузова: «...в социализме, или непонятном энгелизме», — и в скобках к слову «энгелизме» было дано примечание: «вероятно, нигилизме» («Гласный суд», 1867, № 267, от 21 июля, «Дело контр-адмирала Арбузова»).

Словом «энгелизм» вызвало очередную «полемику» в газетах. Одни подняли на смех Арбузова, другие же (например, Суворин) доказывали правомерность употребления этого слова и доискивались его смысла. «Конечно, ни в одном энциклопедическом словаре вы не найдете этого слова, но это ничего не доказывает или, лучше сказать, это доказывает только, что слово это вновь изобретено и как таковое еще не успело попасть в словари. Что касается смысла его, то он ясен. Энтелизм происходит от немецкого слова Engel (<...>), что значит вестник, ангел. Есть ангелы добрые и есть злые ангелы иначе называемые „демонами“» («Недельные очерки и картинки». — «С.-Петербургские ведомости», 1867, № 208, от 30 июля).

²¹ Н. И. Соловьев. Русская песня. — «Всемирный труд», 1867, № 7, стр. 153.

²² Щедрин, т. VI, стр. 248.

²³ «Народный голос», 1867, № 146, от 17 ноября («Петербургская хроника и городские нужды»).

²⁴ Посторонний сатирик <М. А. Антонович>. «Русскому слову». — «Современник», 1865, № 1, стр. 163. — Речь идет о статье В. А. Зайцева «Катрфаж. Единство рода человеческого» («Русское слово», 1864, № 8), на которую ранее откликнулся Антонович в «Современнике», 1864, № 11-12 («Литературные мелочи»). Зайцев выступил с «Ответом моим обвинителю по поводу моего мнения о цветных племенах» («Русское слово», 1864, № 12) и статьей «Г. Постороннему и всем прочим сатирикам» («Русское слово», 1865, № 2). Антонович вновь полемизирует с ним в статье «Г. Зайцеву (подражание ему же)» («Современник», 1865, № 3, «Литературные мелочи»).

Откликнулась на эту полемику и «Искра» (1865, № 8) анонимной статьей, принадлежащей Н. Д. Ножину: «По поводу статей „Русского слова“ о невольничестве».

Автор занял позицию «Современника» так же, как и другой «искровец» Д. Д. Минаев. Герой его готов

...Вслед за Зайцевым суровым

Произносить, что негр есть скот,

Едва ли стоящий забот («Евгений Онегин нашего времени». СПб., 1865).

²⁵ «Народный голос», 1867, № 58, от 14 марта («О народном внутреннем займе»).

²⁶ «Народный голос», 1867, № 10, от 13 января («Критика»); № 86, от 23 апреля («По поводу первых книжек „Женского вестника“»).

²⁷ «Гласный суд», 1867, № 132, от 16 февраля.

²⁸ «Гласный суд», 1867, № 162, от 19 марта («Новости русской прессы»).

²⁹ В статье «Журнал „Женский вестник“ М. М. Клевенский неверно истолковал это место в «Новостях петербургской жизни»: он усмотрел «личный выпад» фельетониста против Слепцова. Произошло это потому, что автор оказался далек от мысли, что хроника принадлежит самому Слепцову, исследователь принял на веру будто между писателем и журналом «произошел какой-то разрыв» (сб. «Русская журналистика. I. Шестидесятые годы». Под ред. В. Полянского. М.—Л., «Academia», 1930, стр. 123).

³⁰ См., например, «Литературная библиотека», 1867, ноябрь, кн. 2, «Театральная хроника», стр. 248—250. Здесь «Некуда» и «Расточитель» Лескова названы «оригинальными и талантливыми произведениями», автор их — «свободно мыслящим и смелым писателем»; здесь сказано, что газетные нигилисты не могут без гримасы произнести имя Стебницкого, создавшего роман «Некуда». Автор статьи о «Гражданском браке» Чернявского в «Отечественных записках» считает появление этой пьесы «своевременным и полезным»; особенно доволен он тем, что в рассказе дядюшки во втором акте упоминается недавно исчезнувшая «петербургская коммуна» («Отечественные записки», 1866, № 12, «Русский драматический театр в Петербурге», стр. 266, 272). В газете И. С. Аксакова «Москва», 1867, № 14, от 18 января, отмечаются логичные рассуждения дядюшки во втором акте, «тонкое остроумие автора пьесы» (см. также статью В. Иванова «Упадок русской сцены». — «Всемирный труд», 1867, № 2, стр. 216—217; автор досадует на Чернявского, что тот не сделал центральным героем нигилиста и не «казнил» его).

³¹ «Литературная библиотека», 1867, декабрь, кн. 1, стр. 278—279 («Специалисты по женской части»).

³² Н. И. Соловьев. Два романиста. — «Всемирный труд», 1867, № 12, стр. 59—60.

³³ Но у Слепцова нашлись защитники, например, Салтыков-Щедрин, который сравнил авторов «Поветрия», «Гражданского брака», «Некуда» с доносчиком Булгариним, увидел в их произведениях тенденцию извратить одни стороны жизни, идеализировать другие; «мертвой способностью» называет он неумение этих авторов исторически справедливо поставить и разрешить вопросы (М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого»; «Гражданский брак, комедия (<...> Н. П. Чернявского». — Щедрин, т. VIII, стр. 304, 305, 307, 364).

В «Искре» эти произведения также подверглись резкой критике:

Иду домой пешком, печальный,
Прослушав весь «Гражданский брак»,
И восклицаю: это брак
Литературно-театральный.

Скорбный поэт (Г. Н. Жулев). На представлении «Гражданского брака». — «Искра», 1866, № 47, стр. 626.

³⁴ «Голос», 1866, № 67, от 8 марта («Сочинения В. А. Слепцова»); «С.-Петербургские ведомости», 1866, № 26, от 26 января («Новые книги»).

³⁵ «Литературная библиотека», 1867, ноябрь, кн. 2, стр. 235 («Критика и библиография»); «Неделя», 1867, № 2, от 8 января; № 6, от 5 февраля (А. Лубенец. Журналистика).

³⁶ Незнакомец (А. С. Суворин). Недельные очерки и картинки. — «С.-Петербургские ведомости», 1867, № 22, от 22 января и № 159, от 11 июня.

³⁷ В начале 1867 г. в «Недельных очерках и картинках» Суворина («С.-Петербургские ведомости»), в фельетонах «Вседневная жизнь» Загуляева — «Х. Л.» («Голос») — смаковалось происшествие на Васильевском острове и др., пространно говорилось о судебных процессах, петербургских развлечениях, назойливо обсуждались такие «вопросы», как «преимущество Васильева над Самойловым и наоборот» в шумевшей пьесе А. К. Толстого «Смерть Ивана Грозного». К этим материалам и отсылает иронически автор «Новостей петербургской жизни».

³⁸ ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 271, л. 142.

³⁹ Н. Соловьев. Суета сует. — «Всемирный труд», 1867, № 2, стр. 181—182.

⁴⁰ Письма Д. И. Писарева к М. А. Маркович от 21 февраля, 4 и 7 декабря 1867 г. — Сб. «Шестидесятые годы». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1940, стр. 154, 159, 161.

⁴¹ С. Н. П. Суслевой писатель был лично знаком в пору организации коммуны (см. публикацию материалов о коммуне, стр. 453 настоящего тома). В очерке «Первая

русская женщина-медик» читаем: «Мы хорошо помним, что и Надежде Прокофьевне Сусловой пришлось перенести от нашего общества очень много неприятностей; ей противодействовали на каждом шагу, на нее сплетничали, ее оскорбляли, старались набросить тень на ее личность и на ее дело, и только глубокая вера в свои силы и в правоту своего дела помогла ей не смущаться придирками общества и твердо идти к своей цели до тех пор, пока запрещение посещать лекции не заставило ее искать себе выхода в чужих странах» («Женский вестник», 1867, № 8, стр. 82).

О Фредерике Бремер и Елизавете Блекуэль автору заметок приходится говорить с чужих слов, и он ссылается на соответствующие источники. Вспомним, что в статье «Женское дело» Слепцов как бы оговорил и такую форму публикации в журнале: изучая важное дело, «собирают всякого рода сведения, к делу относящиеся, и наводят справки <...> с помощью этих сведений только и можно составить себе более или менее правильное понятие о том, как следует поступать в настоящем случае» (см. стр. 274 настоящего тома).

В кратком вступлении к биографическим очеркам о Фредерике Бремер и о Елизавете Блекуэль определена цель опубликования этих очерков в «Женском вестнике». Цель оказывается единой для всех трех заметок: показать пионерок женского образования и эмансипации в разных странах, содействовать этими примерами осуществлению в русском обществе идеи равноправия женщины, пробудить активность, решительность самих женщин, выразить уверенность в плодотворные результаты начатого благородного дела, веру в талантливость, энергию, трудолюбие женщин.

⁴² М. Г о р ь к и й. О Василии Слепцове. — Собр. соч., т. 24. М., 1953, стр. 224.

⁴³ Там же, стр. 223.

⁴⁴ В бумагах Слепцова сохранилось письмо к нему по этому поводу Куракиной (см. опись бумаг, стр. 480 настоящего тома).

⁴⁵ Незнакомец. Недельные очерки и картинки. — «С.-Петербургские ведомости», 1867, № 285, от 15 октября.

⁴⁶ «Голос», 1867, № 281, от 11 октября («Театральные заметки»); № 295, от 25 октября («Еще о литературной честности»).

⁴⁷ См., например, «Голос», 1864, № 82, от 22 марта («Петербургские отметки»).

⁴⁸ Е. П. К а р о в и ч. О развитии женского труда в Петербурге. СПб., 1866, стр. 5—6, 10, 85.

⁴⁹ «Литературная библиотека», 1867, декабрь, кн. 1, стр. 277 («Специалисты по женской части»).

⁵⁰ Чернышевский высказывал свои взгляды на «женский вопрос» не в специальных статьях, а в беллетристических произведениях, освещающих основные вопросы времени: «Что делать?», «Пролог» и др., в статьях, имеющих общее политическое и философское значение: «Июльская монархия», «Полемические красоты» и др.; «Добролюб» — в статьях, также не специального характера: «Темное царство», «Луч света в темном царстве» и др.; Салтыков-Щедрин — в цикле «Наша общественная жизнь», в рецензиях на современные романы и пьесы: «Шаг за шагом» Оммулевского, «Говорунья» Манна, «Гражданский брак» Чернышевского и др.

⁵¹ В письме: «От редакции журнала „Женский вестник“, опубликованном в ряде газет в начале 1867 г., находим нечто близкое к статье Слепцова. Это еще одно доказательство как программного характера статьи «Женское дело», так и участия Слепцова в редактировании журнала в 1867 г.

Приводим его текст:

От редакции журнала «Женский вестник»

Главная задача журнала «Женский вестник» состоит в том, чтобы, обсуждая с разных сторон современное положение русской женщины, изыскивать средства к улучшению этого положения на всех путях ее разумной и полезной деятельности, по возможности расширить круг для этой деятельности, помогать развитию умственных и нравственных сил женщины, и, наконец, практически указывать на те отрасли труда, где женщина, самостоятельно улучшая свой экономический быт, может быть более полезна семье или обществу.

Вопрос о положении женщины тесно связан со многими другими вопросами нашей частной и общественной жизни. Задача журнала по этому вопросу слишком сложная, а потому «Женский вестник» не может попасть в разряд тех специальных изданий, которыми интересуется небольшой кружок людей, преданных делу своей специальности. Напротив, можно положительно сказать, что нет ни одной стороны в нашем гражданском быту, которая бы не имела какого-нибудь отношения к вопросу о женщине.

(«Народный голос», 1867, № 1, от 1 января).

НОВОСТИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ

СКРОМНЫЕ ЗАМЕТКИ

<I. МАЙ 1867 г.>

Я собираюсь ежемесячно сообщать читателям «Женского вестника» о тех явлениях, которые у нас зовутся общественной жизнью... Я обещаю указывать на выдающиеся факты, и, конечно, будет вина не моя, если мне придется ввести читателя в тот узенький мирок нашей общественной жизни, которая единственно ограничивается катками, Барбо, балаганами, «Гражданским браком» Чернявского, Ренцом и т. п. Более интересными и стоящими внимания предметами, чем Барбо и Рапо, общество, насколько мне известно, не занимается, и потому дни за днями идут скучно и однообразно до приторности. Разве кто-нибудь из сограждан уж чересчур оригинальную штуку выкинет и тем даст материалу на две-три заметки. Из этих-то курьезных штук я на первый раз укажу хоть на одну. Видите ли вы, читатель, виньетку на новом издании романа «Некуда»? На этой виньетке нарисован сам г-н Стебницкий, который подает руку девушке, стоящей на скале и совершенно готовой упасть в пропасть, если б не стоял тут честный автор этого честного романа... Ясное дело, что пропасть в данном случае — прозрачная аллегория, долженствующая изображать ту нравственную пропасть, которая зовется ужасными словами, кончающимися на *изм.*

Тут я однако отступлю, вспомнив, что мне надо еще отрекомендоваться. Нынче такое время, что без самой тщательной рекомендации со всех сторон нельзя поступить даже и на место фельетониста. Итак, рекомендуюсь. Я молодой и совершенно неизвестный литератор, и если не состою, подобно многим из моих собратий по ремеслу, в штате чиновников, то единственно вследствие давнего и сильнейшего отвращения ко всякой чересчур хлопотливой деятельности. Я мелкая сошка в литературном мире, и даже если бы написал стихи (тут считаю приличным заметить, что пишу преплохие стихи, впрочем не хуже стихов К. Случевского и лучше стихов Варвары Анненковой) в честь... ну хоть в честь недавно съезда прибывшего японского посольства, то и тогда за свой добронравный поступок не получил бы никакого японского ордена и вряд ли бы стал известнее. Я весьма добродушный и снисходительный молодой человек. Это вы увидите из дальнейшего чтения.

Я никогда не говорю громко, что «Гражданский брак» Чернявского незрядная мерзость, несмотря на то, что в ней довольно искусно умирает г-жа Струйская... Я читал последнюю книжку «Всемирного труда» со статьей Соловьева и с повестью Авенариуса... Дальше этого идти нельзя... Вы усматриваете, что я не слишком брюзгливый джентельмен.

Теперь могу приступить к делу и начать описание нашей жизни... Я в коротких словах опишу ее с нового года...

Новый год застал нас веселящихся с благотворительной целью... Мы жертвовали в пользу кандиотов... Мы говорили даже об них спичи и удивительно как соболезновали о своих единоверцах.

Конечно, сборы в пользу критян — дело хорошее, но...

Впрочем, я лучше расскажу небольшую сцену...

В одном из публичных собраний был обед... за обедом, как водится, были спичи...

Много было повышито, много было сказано...

— Господа, — заговорил один, — господа... выпьем... за критян... Они, бедные, гибнут под тяжестью турецкого господства... Они... Ну, одним словом, выпьем!..

Выпили.

- Господа... пожертвуем в пользу критян... Они воюют...
- Пожертвуем!..
- А молокососам спуску не давать!..
- Не давать!.. Они ведут к гибели нашу родину...
- Выпьём!!

Из этой сцены да уловит неопытный читатель ту истину, что деньги, жертвуемые на критян, могли бы идти и на своих сиволапых соотчичей, если бы только свои могли бы интересоваться в такой степени, как интересуют чужие...

Как бы то ни было, но мы помогли критянам и продолжаем помогать...

После кандиотского маскарада всякий стал поздравлять друг друга с новым счастьем, хотя никто ни на какое новое счастье вовсе и не рассчитывал, ибо нынче и маленькие дети весьма обстоятельно понимают, что жареные бекасы с неба на землю не валяются...

Затем публика стала ждать тиража... Разочарованные невыигравшие смертные стали кататься на коньках, толковать о преимуществе Васильева перед Самойловым, и наоборот, и наконец заволновались при известии о необыкновенном происшествии на Васильевском острове. Это *страшное* происшествие состояло в том, что одну старуху держали в запертой комнате лет двадцать и держали ее крайне бесчеловечно... Случайно дело это открылось, и виновница такого обращения, сестра старухи, домовладелица, г-жа Шлегель, подвергнута судебному преследованию...

Общество возмутилось (т. е. заговорило, и до того много говорило, что надоело) этому происшествию. Затем успокоилось и снова перешло к каткам, «Смерти Грозного» и, наконец, балаганам.

Трудящиеся люди во все это время работали и не знали, кто лучше, Васильев или Самойлов. Им было некогда.

Женщины-работницы во все это время тоже были заняты постоянной работой и не спорили: где лучше декорации, в «Грозном» или в «Фараоне»... Им было некогда...

Публика продолжала тискаться за билетами на «Смерть Грозного» и кататься на коньках.

Конечно, ничего нет удивительного, что такие пустяки, как декорации или *страшное* происшествие возбуждают у нас столь обильное количество толков. Как отдельный человек, так и общество желает знать и принять участие в том, что делается вокруг. И чем более заинтересовано оно лично, тем более оно и говорит. А так как общество в настоящую минуту «частью по близорукости, частью по простоте» не находит для себя занятий более или менее серьезных, то ясно, что общественная мысль и обращается на пустяки... Если в Англии, например, общественное мнение занято весьма серьезными делами, то потому только, что оно лично заинтересовано в этих делах... Мы тоже хотим интересоваться чем-нибудь, принять участие в чем-нибудь... Ну и интересуемся вопросами декораций и принимаем участие на ледяных балах.

Какая-то непроходимая одурь нападает на моих сограждан, если у них нет никакой пищи для разговора, где бы гражданин мог хоть бы словом принять участие или хоть из кармана да показать кукиш. Ходит чиновник в должность... Прочитывает он клубнику Крестовского, но все же от этого ему не легче. Грызет его азиатская скука. Он чувствует, что это не то, не то...

— Отчего вы переписали бумагу плохо? А-а-а? — срывает он сердце на писаре.

Писарь открывает глаза, и губы его готовы были, кажется, произнести надлежащий ответ, но не произнесли, ибо в то же время в писарской голове ясно пронеслась мысль, что чиновник «блажит от скуки».

— Перепишите снова!.. Господи, хоть бы скорей четыре пробило...
Бьет четыре, и он стремглав летит к Палкину.

Берет «Инвалид» и читает в нем: «Недавно в Лондоне был проектирован билль о реформе и при этом...» и т. д. В чиновничьей голове подобное



ПЕРВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ РОМАНА Н. С. ЛЕСКОВА
(СТЕВНИЦКОГО) «НЕКУДА» (СПб., 1867)

Титульный лист. Рисунок М. О. Микешина

«Видите ли вы, читатель, вильетку на новом издании романа „Некуда“? На этой вильетке нарисован сам г-н Стевницкий, который подает руку девушке, стоящей на скале и совершенно готовой упасть в пропасть, если б не стоял тут честный автор этого честного романа...» (Из хроники Слепцова «Новости петербургской жизни»)

описание производит подобие какого-то сумбура... Он оглядывается вокруг и видит, что все мирно сидят и кушают... Офицер сидит рядом и тоже кушает, и тоже читает «Голос», в котором тоже изображено: «Недавно в Лондоне» и пр., и на физиономии его тоже является нечто поражающее; он оглядывается, потом быстро успокаивается и, прочитывая дальше отметку, думает:

— О опять дернули... Эка бесстрашный народ!..

Однако тоска не покидает чиновника... он выбегает из трактира и кричит:

— Извозчик!

— Куда-с?

— В Гороховую гривенник.

— На своих доедете за гривенник...

— Что?

— Ничего... На своих, говорю, и т. д.

— А к мировому хочешь?..

— За что?

— Ты говоришь дерзости.

— Я-то?.. Ступайте... ступайте... Эка цепляется!..

«Экие болваны, — говорит чиновник и думает: — Хоть бы что-нибудь случилось... хоть бы скандал... Господи!»

Но с ним ничего не случается. Он даже не успевает поругаться с кухаркой, ибо кухарке некогда огрызаться... У нее дела полны руки. Поутру он снова идет в департамент и снова грызется непроходимой скукой....

— Слышал?.. — подходит к нему товарищ.

— Что?

— На Васильевском... происшествие... Вообрази... и т. д.

Рассказывается происшествие... Чиновник ожил... Есть пицца... На три дня он занят.

И везде та же одурь, та же скука. Значит, если есть выход из нее какой бы то ни было, то всякий хватается за него, как утопающий за соломинку, представляется ли она в виде «Грозного», балета или Раппо, или семейных и других сцен — все равно...

И вся эта аномальная жизнь понятна и ни капли не должна удивлять немного думающего человека. Но меня, иной раз, вот кто удивляет!.. Пресса российская...

К чему она, наша смиренная пресса, испечатала столько бумаги о страшном происшествии? Одно время чуть ли не каждый день печатались новые сведения, и пресса, взьерошив волосы, вскрикивала: «Ужасно, ужасно!» До той поры, пока официальный «Судебный вестник» не остановил ее порывов, как нянька, останавливающая шаловливых детей, и не напечатал, что пресса врет, что обращение со старухой вовсе не было так скверно и пр. Тогда снова начались заявления, в которых заговорили, что и в самом деле обращались хорошо, что заключенная помешана, что она больна. И тот же «Голос», который, как кумушка Петербургской стороны, первый напечатал заметку об ужасах, теперь в припадке горячности стал печатать о больной такие подробности, которые вовсе не хорошо рекомендуют целомудрие редакции и разве годились бы либо в медицинский журнал, либо в «Трущобы», или «Поветрие» г-на Авенарнуса.

Приняв по этому делу совершенно противоположное мнение, прежде высказанному, газеты было замолчали, когда появившаяся заметка о том, что г-жа Шлегель предана преследованию, снова заставила газетчиков еще раз прокричать: «ужасно, ужасно, ужасно...»

Все это меня несколько удивляет. Я, право, ничего не вижу ужасного в этой истории. Или разве те же газеты не знают о ежедневно случающихся фактах, которые еще ужаснее и о которых они, однако, молчат, а если и говорят, то в самой короткой сухой заметке, а не взьерошив волосы и не возвышая голоса. Так отчего же о подобных фактах умалчивают эти кликуши газетные? Отчего же тут они не подымут воя и не заголосят на этот раз уже справедливо: ужасно, ужасно!..

Отчего не подымут воя и не закричат: «ужасно!» Что большая часть из этих кликуш не хотят ради известных целей видеть дальше своих носов и оттого, что мирозерцание их не идет дальше мирозерцания Николая Соловьева, того самого Николая Соловьева, который начал свою деятельность в «Эпохе», с успехом продолжал в «Отечественных записках» и теперь продолжает в «Всемирном труде»; того самого Николая Соловьева, который понимает, что есть обстоятельства, в которые трудно отвечать прямо на инквизиционные вопросы, но позволяет себе даже клеветать, приписывая другим такие мысли, каких эти другие никогда не высказывали. И все это печатается, ибо русская печать давно лишилась возможности краснеть или бледнеть, с тех пор, как люди, подобные Николаю Соловьеву и Авенариусу, корифействуют и преподносят публике вместе с клеветою и сцены, в которых под видом обличения чуть ли не описывается со всеми подробностями брачный акт.

Вообще в литературе видна какая-то флюгарность. Люди, занимающие в ней теперь места, ворочаются, как несчастные флюгарки, по направлению вечно дующего северо-восточного морозного ветра. Они готовы, подняв свои бесстыжие головы, хозяйничать теперь совершенно безнаказанно, потому что нет теперь над ними сильной полемической палки, которая их хлестко била когда-то. И потому-то недавно, между прочим, явилось и «Поветрие» г. Авенариуса. Я прочел эту повесть и должен попросту сказать, что г. Авенариус большой руки..., как бы помягче выразиться, *клубничник*. Вся его история заключена в скабрезных сценах с такими подробностями, до каких доходит только Вс. Крестовский и то в стихах, а не в прозе. Вместо «*Поветрия*» эту повесть следовало бы назвать: «*Картины соблазнительных положений*». Кроме сальных сцен, еще более сальных от того, что они написаны с тем смаком, в котором ясно виднеется самое полное клубничное образование автора, в этих «*Картинах*» ровно ничего нет, и я вряд ли бы обратил на них особенное внимание, если бы не встретил назад тому с неделю двух разухабистых франтов, которые после обычных вопросов о новостях заявили мне:

— Ну, батенька, чудо что за повесть напечатана в «Всемирном труде». Называется «Поветрие». Великолепно там описано, как одна швейцарка...

Дальше следовал разговор на ухо, так как в комнате сидели дамы...

— Прочтите... Это чудо... В балет идти не надо... Прелесть! Должно быть, г-н Авенариус ходок по этой части... Как это он все описал... Тонко!.. Один юнкер даже сочинил про него следующий стишок:

Сей автор достоин Крестовского,
И можно наверно сказать:
Успеха достигнет чертовского,
Коль будет «Поветрья» писать.
Кто любит картинки циничные
(На них ведь охотники есть),
Тот может «Поветрье» клубничное
У доктора Хана прочесть.
И пусть наш талантливый Мариус *
Напишет пикантный балет...
Но все ж господин Авенариус
Наш лучший клубничный поэт...

— Не правда ли, хорошо?

— Если не хорошо, то верно...

Эта же повесть, т. е. «Поветрие», произвела следующую историю в дальней Коломне:

* Петипа. — Прим. Слепцова.

В одной из скромных квартир коломенских живет старый статский советник с женою и дочерью... Статский советник после должности целые дни ворчит на жену и на дочь. Ворчит потому, что иначе не знал бы, куда ему деваться от скуки. Случится ли неприятность какая, пройдет ли слух о сокращении штатов, скажет ли ему деликатно начальник: «Вы немножко не сообразили, Иван Иванович», — Иван Иванович непременно, сидя за столом, искоса взглянет на молодую дочь и прошипит:

— Ужо погоди, вас всех ученых переберут... Погоди!

Обыкновенно дочь не обращала большого внимания на подобные выходы, так как они обыкновенно ограничивались только словами.

— Погодите, голубчики... Вишь тоже учиться, а после нам же старикам: «вы немножко несообразительны», вот... не бойся... школу-то закрыли... еще не то будет...

— Что ты, что ты, Иван Иваныч, успокойся... Кушай соус, — успокаивала мать.

— Волю дали, распустили... Погоди... Вот мне рассказывали, вас всех велели переписать... Это тех, кто ходит в публичную библиотеку... Подождите...

Обыкновенно старик, испустив свой запас желчи, успокаивался и затем ложился спать, а дочь хоть и принуждена была выслушивать подобные речи, но все-таки аккуратно ходила читать в библиотеку и давать уроки.

На беду, Иван Иваныч как-то прочел «Поветрие» и, не медля за сим, стал дурить:

— Лиза, ты куда?..

— В библиотеку...

— В библиотеку?.. Не смей!..

— Что, папенька?

— Не смей... Ни... Я понимаю, какая библиотека... Понимаю!.. Верно к какому-нибудь студенту на Петербургскую сторону, — цитировал Иван Иваныч Авенариуса. — Ни-ни, не смей!..

— Что вы, что вы, откуда вы взяли, папенька?..

— Или я не отец... Про вас даже пишут... Говорю не смей!..

Ни шагу!..

— Папенька, я пойду...

— Что-о?..

— Я пойду в библиотеку...

— Жена! Ключ! Запру... Позор, разврат!!

И т. д. и т. д. Предоставляю читателю дополнить воображением эту приятную семейную сценку, вызванную тупоумием Ивана Иваныча, поощренного Авенариусом...

Однако бросаю его и устремляюсь на улицу.

Конькобежцы неумоимо скользят по катку и придумывают себе такие костюмы (особливо конькобежицы), которых ни в «Модном магазине», ни в «Новом базаре», ни в «Модах и новостях», ни в «Вазе» не найдешь... Такие уж костюмы фантастические и дорогие...

А денег все нет и нет...

Недавно был тираж второго займа, и снова разочаровались охотники выиграть, и снова, задумчиво сморщив брови, говорят:

— Господи! Хоть бы с 1 июля повезло!!

— Папа, а что же мне шубку для катанья? — подбегает дочь...

— А я деньги кую?..

Дочь поражена... Она не знает, что такое деньги и куют ли их или нет, ибо этого в пансионе она не узнала, а что деньги легко бросаются, это она видела весьма часто и не далее, как на масленной, сидя в балете, где Гранцовой поднесли чудовищные подарки.

— Так ты, папа, достань денег... Займи что ли?..

— Глупая!.. Нет тебе шубки; не на что!.. Выйдешь за богатого, он тебе и шубку, и все подарит... Лови богатенького...

Дочь отходит печальная и недовольная... У нее нет шубки... Отец сказал, что он не кует денег...

— Голубчик, Пьер, где деньги куют?.. — спрашивает она за обедом своего двоюродного брата.



ЧТЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ВЫИГРЫШЕЙ

Гравюра с рисунка В. М. Васнецова, 1872 г.

Третьяковская галерея, Москва

«Недавно был тираж второго займа, и снова разочаровались охотники выиграть, и снова, задумчиво сморщив брови, говорят: — Господи! Хоть бы с 1 июля повезло!» (Из хроники Слепцова «Новости петербургской жизни»)

Братец смеется и объясняет, что деньги не куют, а делают и что они получаются из деревень от мужиков, с домов, со службы и, наконец, от ростовщиков под векселя и т. п.

Выйдет замуж эта милая наивность и... Но следствие уж так банально известно, что я не останавливаюсь на этом и продолжаю путешествие по улице.

Опять натякаюсь на всем известное. Слышу:

— Позвольте проводить... Душка!..

— Городовой!.. К мировому!..

— Милка! Городового нет... Поцелуйте!..

— Городовой!..

Господин убегает; городской подходит; девушка дрожит от гнева. Все это известно и даже не заставляет проходящих возмущаться. Иду дальше... Встречаю знакомую телеграфистку.

— Здравствуйте... как живете?..

— Плохо. У нас бог знает что делается.

— А что?..

— Да как же... Работаешь, кажется, усердно, а тебе всё стараются какой-нибудь подвох подвести... Нарочно, чтоб доказать, что женщина не способна к труду... Конечно, если прикажут, можно ведь написать что угодно, да только не правду...

Мы еще потолковали и разошлись. Слышу впереди разговор двух бобров.

— Дмитрий Иванович, нельзя ли рубликов 200 недели на две?

— А залог?..

— Под вексель...

— Залог...

— Я бы со всем удовольствием...

— Без залогу ни... ни...

Опять старая песня... Недовольство, беднежье, процент, залог, мировые и пр. и пр. и пр. ...

Прохожу мимо Базунова и, разглядывая книги, усматриваю стихотворенья Варвары Анненковой. Радуюсь новой поэтессе и покупаю книгу.

Прихожу домой и начинаю читать мелкие стихотворения, оставляя драму «Шарлота Корде» на закуску...

Натыкаюсь прямо на стихотворение, озаглавленное «Опекунам Европы...» «А, — думаю, — Варвара Анненкова любит политику». Весьма радуюсь этой любви и читаю:

Давно ль поставлены над миром вы судьями?

Иль приглашали вас мы властвовать над нами?..

и т. д., где Варвара Анненкова поражает Европу таковыми вопросами в целом куплете, но так как Европа ни слова не отвечает на запросы Варвары Анненковой, то Варвара Анненкова сама отвечает:

О нет!.. И это вам известно!

И продолжает распекать Европу, журналистов, поляков, Наполеона, словом, многим-таки досталось от Варвары Анненковой. Она грозит общей войной... Она доходит до кровожадности и кончает свою вдохновенную песнь заявлением, что Россия себя отстоит, — что мне узнать, как россиянину, было, конечно, весьма приятно...

Прочитав далее «Свершившийся факт», я окончательно убеждаюсь, что Варвара Анненкова любит политику и не любит французов, ибо вспоминает:

Не факт ли эта гильотина,

Где цвет (?) земли великой пал?

Святого ль Людовика сына

Палач главою потрясал?..

Прочитывая дальше, я начинаю понимать, почему написаны первые стихотворения. Ключ к уразумению сей истины преподносит мне сама Варвара Анненкова в своем стихотворении: «Всегда ль мечтать?». Она заявляет:

Всегда ль мечтать? — Еще ли верить?

Когда ж умом дозрею я? и т. д.

Тут я понимаю ясно, с кем имею дело; но из дальнейшего чтения убеждаюсь, что поэтесса недаром спрашивает самую себя: «когда ж она дозреет умом», ибо в следующих стихотворениях ни я, ни сама поэтесса не находим возможности отвечать на этот вопрос в положительном смысле... Усматривая, что Варвара Анненкова любит аристократию, я не могу отказать себе в удовольствии привести ее доказательства в пользу аристократии. Она поет:

Иль конь крылатый, чистокровный
Быть может с клячей уравнен?..

Узнав, что я некоторым образом тоже «кляча», я окончательно упал духом и даже не понял многих стихотворных продуктов поэтессы Варвары Анненковой; знаю только, что она и с Нордкапом и с «Гольфштромом» и с Кораллами беседует, даже конторку Сиверса воспеваает... Окончив стихотворенья, я не рискнул читать драмы, а возымел намерение подражать Варваре Анненковой и написал следующее стихотворение, подчеркнув стихи, украденные у поэтессы.

ВСЕГДА ЛИ ПИСАТЬ?

Всегда ль писать?.. Еще ль не верить,
Что врад умом дозрею я
И что (к чему уж лицемерить)
Книжснка гадостна моя!
И заглянув в себя отважно,
Пора понять и мне завет:
Что лучше сплетничать мне важно,
Чем сочинять на склоне лет?

Если мое слабое подражание послужит в пользу Варваре Анненковой, то я принесу двойную пользу: избавлю Варвару Анненкову от расходов (верно, книжица издана на ее счет, ибо кто же издаст такую книжицу столь изящно и роскошно?) и избавлю неопытного охотника до стихов от непроходимой скуки. Искренно этого желаю и бросаю книгу в сторону...

Тут я замечаю, что ни слова не сказал о балаганах и масляной неделе. Успокойся, читатель, и вперед не кляни меня, думая, что я преподнесу тебе рапорт о театрах Берга, Раппо и Громова... Я ни слова не скажу о их представлениях, точно так, как удержусь от описывания известных масляничных уличных сцен... Замечу только, что прогресс наш заявил себя на эту масляную тем, что на балагане Раппо была афиша в стихах... «Незнакомец» рассказывает (ответственность слагаю на «Незнакомца»), что стихи эти написаны майором Бурбоновым; другие говорят, что — Фетом; кухарка моя, Марфа, уверяет даже, что сильная патриотическая струя, разлитая в стихотворной афише, дает ей повод предполагать, что афиша сочинена Варварой Анненковой... Словом, это дело нерешенное. Что же касается до предположения кухарки, то оно ясно — чистейший вздор, ибо не станет же Варвара Анненкова сочинять для балагана.

Иль конь крылатый (?) чистокровный
Быть может с клячей уравнен?

ответчу я стихами поэтессы...

В балаганах не было ровно ничего интересного... Скука и повторение прошлого...

Прошла эта неделя и, как и следовало ожидать, фельетонисты все залиберальничали:

— Недурно бы театр в великом посту... Разве живые картины не то же самое?..

— Ходят слухи, что разрешат спектакли, — пускает ловкий маневр Х. Л. из «Голоса», и по этому поводу решается либеральничать...

Но, конечно, эти куриные возгласы не идут никак дальше столбцов газеты, где они печатаются, и публика будет довольствоваться живыми картинами и «Трущобами», запрос на которые, говорят, возрос до неимоверной степени... По несчастию, запрос на чтение в столице преимущественно устремлен на трущобные произведения... Что же касается до провинций, то и там, как и здесь, есть кружки, отворачивающиеся от трущобной и клубничной литературы и устремляющие свое внимание на предметы более солидные... Но о том, что делается в провинции, я не смею говорить, ибо в таком случае залез бы в область Вл. В. Чуйко, который, кстати замечу, не кавалер, а дама...

Последнее замечание я делаю, собственно, для Федора Веселкина, а потому заранее прошу извинения, что на несколько строк заставляю читателя обратить внимание на Федора Веселкина.

Есть люди, обуреваемые страстью к сочинительству... Им все равно: сочинят ли они отметку о пользе ватерклозетов, или о влиянии России на Ташкент и Ташкента на Россию. Им нужно только подписать сполна свое имя и фамилию и после рисоваться перед товарищами-канцеляристами своим сочинительством... К такому-то классу людей я принужден причислить некоего Федора Веселкина, который, как видно, разлужбный малый, большой весельчак и каламбурист. Он, видите ли, недоволен «Женским вестником» и критикует его с точки зрения негалантности фраз и в остроумии своем доходит до того, что спрашивает: «Чуйко — кавалер или дама?» Отвечаю Федору Веселкину, — кавалер, — и спрашиваю его: знает ли он мичмана Дырку, который хохочет, если ему поставят палец?.. Если он его не знает, то, заметив Федору Веселкину, что он очень похож на сего мичмана, я советую ему сочинить еще отметку и подписать ее Федор (отчество) Веселкин-Дырка тож... Тогда будет совершенно ясна причина отметки, которую «Гласный суд» поместит, за которую канцеляристы похвалят, а знакомые кисейные барышни скажут:

— Ах, какой насмешник этот Федор Веселкин!..

И беда как плодятся эти Веселкины... страсть!.. Когда-нибудь я представлю читателю очерк тех литературных личностей, которые по заказу обругают кого угодно... В их статьях не убеждение прорывается, а копейки, копейки и копейки... Видит, положим, литературная лавочка (журнал тож), что другой журнал имеет успех и командует хозяин литературной лавочки:

— Господин NN, надо обругать госпожу ZZ...

— Позвольте вперед рубликов 20-ть...

— Нате, да смотрите — продернуть...

— Продернем!.. Будьте спокойны...

Господин NN даже и не читает статьи ZZ... Он просто смотрит ее в заглавие и начинает катать и в стихах и прозе. Стихи придумывает вроде следующих:

Пишу минаевским размером

Других, увь! в запасе нет...

Я в них прелестнейшим манером

Продерну умную ZZ и т. д.

Я, с своей стороны, готов прибавить еще куплетцы такого содержания:

Служить готов я лирой звонкой

Как истый русский либерал,

Хотя всегда довольно тонко

Я это слово понимал!

«В ТИПОГРАФИИ»

Карикатура, высмеивающая
противников женской
эмансипации

Гравюра П. Куренкова
с рисунка Н. А. Степанова

«Искра», 1864, № 22

«...тем более чести, если у нас некото-
рые - таки устраивают себе жизнь
по-своему и, не обращая внимания на
змейное кругом шипение, идут вперед,
учась и трудясь...» (Из хроники Слеп-
цова «Новости петербургской жизни»)



Грав. П. Куренков.

В ТИПОГРАФИИ.

— Как близко работницам.
Посетитель. — А из какого общества?
— Преподобнейшего изъ класса образованнаго: бывших гувернанток,
заманчивою...
Посетитель. — Безразличность то какая! Прочитать житея въ
благодарности домъ на такую гравюру работу.
— Видно ужь очень жутко въ благодарности домъ а тутъ ничто не
задронеть самолюбия, не оскорбить чести...
Посетитель. — Чести, батенька, ровномъ для бланко тезисовъ.

Слова: принцип и убежденья
Лишь служат рифмой для стиха,
Кто больше даст вознагражденья
Тому служу я без греха...

Все это очень грустно и поучительно... И везде, где литература находится в положении лакея в барской передней, везде подобные явления — следствия таких печальных обстоятельств... С одной стороны, полнейшее бесцеремонное царство Соловьевых, с другой — робкие еле заметные проблески негрязной идеи...

Из ряда крупных, но печальных фактов нашей жизни спешу передать следующий, выловленный мною в газете. Дело в том, что некая воспитательница дала две пощечины девочке и, несмотря на жалобу последней инспектору, дело это, говорят, замято. Я слышал даже, что храбрая женщина прислала в редакцию какой-то газеты письмо, где пишет, что она дала только *одну* пощечину и то *маленькую*.

Благоговейно останавливаюсь.

Куда же отдать мою племянницу? Я в недоумении. Посоветую отдать ее в реальное училище при одном из женских учебных заведений и посоветую заявить кому следует, что племянница моя тупа. Читатель не удивляйся! Я это сделаю для того, чтобы племянница моя впоследствии не спрашивала: «где куют деньги?». Ибо только не оказавших больших умственных способностей отдадут в это училище, где учат шить, мыть... словом, полезным делам... О, сколь я желаю чтоб было больше таких

тупых девочек для того, чтобы по выходе из заведения они могли что-нибудь делать и не служили бы бременем для большинства мужей, братьев и т. п. ...

Эта песня стара, так же стара, как вечная горькая русская песня, как вечные непрактичные и ради удовольствия устраиваемые благотворительные общества... Хоть бы все эти светские учредительницы взяли пример с почетной гражданки Анны Осиповны Тупицыной, пожертвовавшей 5000 рублей на устройство в Коломне женского училища второго разряда... Такое благотворение понятно и действительно благотворно.

— Но все это паллиативные меры... Ты нам предложи другие средства, — замечает радикальный читатель...

Я улыбаюсь ехидным образом, удивляюсь, что он заговаривает таким образом и делаю скачок к театру...

Его теперь нет, но это, однако, мне несколько не мешает поговорить о нем... Вообще все — и критики, и фельетонисты заверяют, что театр весьма благотворно действует на наши нравы... Что касается до меня, то я никак не могу с этим согласиться, основываясь на том, что пьесы, даваемые на нашем театре, по большей части или бывают эротически-игривого содержания, или служат сотрудниками тех произведений беллетристики, представляемыми которой считаются «Взбаламученное море», «Некуда», «Марево», «Трущобы» и «Поветрие»...

Приходится довольствоваться пьесами и в роде «Брака», «В глуши», «Двух поколений», «Братьев Давенпортов», «Светских ширм» и прочих... Я решительно не могу сказать читателю: какая из этих пьес глупее. Кажется, все одинаково глупы, и если в «Светских ширмах» и есть тип девушки, умирающей от блестящего светского тупоумия окружающих и возбуждающей при хорошей игре г-жи Струйской различные мысли, то это вовсе не заслуга г. Дьяченки, так как он пьесу переделал из повести «Замосковская летопись», напечатанной в «Библиотеке для чтения» 1848 года. Из всего этого хлама останавливается внимание... читатель думает об «Иоанне Грозном»... Читатель ошибается. Я хотел сказать о пьесе г. Фролова «Быть или не быть».

Я останавливаюсь на ней не потому, что она представляет особенные достоинства; оригинальность мысли или типичность характера. Нет. Я останавливаюсь на ней только потому, что она не подла...

Дело в том, что молодой светский шлопай, Дробин, живет на содержании у купчихи Кумачевой и собирается на ней жениться. В это время приезжает в Петербург чиновник с дочкой Верою. Это русская девушка, приехавшая в Петербург трудиться. Она намерена поступить в гувернантки и пока останавливается с отцом у Дробина. Она — девушка не глупая, хотя и не совершенно еще развитая, ибо увлекается этим шлопаем и иногда высказывает небольшое знание жизни... Но и в Дробине пробивается тоже что-то похожее на увлечение, и он делает предложение Верочке. Когда же приходится расставаться с богатой жизнью, с рысаками и дорогой мебелью, — перед этим продуктом светской жизни восстает мысль: быть или не быть честным человеком, трудиться или паразитствовать? Конечно, он склоняется на сторону последнего, тем более, что Верочка отдает ему назад слово и произносит монолог, в котором объясняет, что если бы он и женился, то жизнь его была бы каторгой... Дробин женится на Кумачевой, а Верочка поступает в гувернантки... Вот и вся пьеса, и если я об ней упоминаю, то ради того, чтобы сказать, что из плеяды всех пьес нашлась хоть одна честная, в которой выставлена неглупая девушка, возбуждающая удивление в шлопае Дробине и его товарищах тем, что отказалась от богатого жениха. Вот еще чему удивляются шлопай и вот еще что приходится хвалить летописцу, — пьесу, где выставлена русская дворянка, девушка не боящаяся труда!..

Об остальных пьесах решительно ничего не имею сказать. Жалко только, что оперы итальянской, говорят, не будет и что посетителям бельэтажей придется ухитриться бросать еженедельно 25 р. в другое место.

Ухитрятся.

⟨II. ИЮНЬ 1867 г.⟩

Стоит только взглянуть на нашего общего приятеля Ивана Флюгаркина, чтобы с достоверностью судить о нашей общественной жизни. Я даже вовсе не хуже (если не лучше), чем по «Голосу», узнаю по лицу моего приятеля — готовятся или нет обед по какому бы то ни было поводу и какие статьи под рубрикой «С.-Петербург такого-то мая 1867 г.» появятся после обеда — объедки ли затрапезных спичей или разыгравшаяся фантазия на искристые темы. Бедняга! С которых пор он не снимает фрака, говорит спичи (и они, ей-богу, печатаются) и страдает расстройством желудка... Несчастный! В последнее время он вовсе не знает покоя и, глядя на его часто меняющуюся физиономию, я вполне понимаю, как тягостно быть русскому общественному деятелю, как часто обязана меняться физиономия такого общественного деятеля и как — говорю словами «Голоса» — чревато событиями наше время... Встречаюсь часто с Иваном Флюгаркиным (понятно, что читателю вовсе нет дела ни до чинов, ни до общественного положения нашего приятеля), я делаю такие выводы:

Если его физиономия имеет внушительное выражение, словно говорящее: «Мы... Россия... одним словом... мы... Взгляните: гласный суд... кабы... ватерклозеты...» и если на его вертлявой спине надет фрак, а во фраке лежит сверток почтовой бумаги, который наш друг время от времени прочитывает, то я непреложно заключаю, что к нам приехали наши ташкентские друзья и что:

Во-первых, их встретят на железной дороге и закричат: Ала... ала... ала!..

(При этом и мужики будут кричать: ала или ура, хотя не будут знать достоверно, кому они кричат: грекам, американцам или ташкентцам); во-вторых, повезут их слушать дело Арсеньева в Окружной суд; в-третьих, составит комиссия угощения;

в-четвертых, будет обед, на котором будут спичи о необходимости ташкентцу приобрести русскую походку, а русскому ташкентскую цивилизацию, и

в-пятых, на следующий день публицисты настрочат передовых статей целковых на сорок каждый, в которых будет доказываться:

а) что Ташкент — страна, а не миф,

б) что приобретение Ташкента отразится весьма благоприятно на торговых рынках и даже на расторопности околоточных,

с) что англичанину будет фига (слушайте... слушайте!), что вследствие этого железные заводы процветут, что мужики разбогатеют, что (это особенно вкусно) журнальное дело будет способней и что (слушайте же!) Россия покроется сетью железных дорог.

Столь глубокомысленно опишут премьеры, так сказать, передовики. Что же касается до моих товарищей — фельетонистов, то и им будет поэжива: описание обеда, блюд и вина (это для инвалидного), описание своих чувств (для Незнакомца) и, наконец, заявление: «что мы не можем не сказать по справедливости, что народ русский, так сказать, сразу полюбил своих новых друзей и от души встречал их радостными криками ала, ... ала...» (это для Х. Л. ⟨из⟩ «Голоса»).

Да. Материалу будет довольно и везде возопят:

— Ташкентцы!.. ташкентцы!.. О-о-о!..

— Однако же, как вы полагаете, что из этого выйдет?— говорит один гражданин другому.

— Разве вы не читали... Англичанин-то... Шелковичный червь... каковы мы-то, русаки!..

— Именно... Пожалуй, и француз утрет нос?..

— Хитер... шалишь...

— А Бисмарку?..

— Тоже пальца в рот не клади... Однако... знаете ли...

И разговор снова перейдет на шелковичного червя, потом на Наполеона и Бисмарка.

Да. Обеды будут очень вкусные, хотя и дорогие (но дума покроет эти расходы, ибо нельзя же, в самом деле?); вина будет много, но все-таки на обеде не перепьются...

Иван Флюгаркин везде носится и везде с видом самым внушительным говорит о друзьях...

И мы его слушаем, и мы ему аплодируем.

И он плачет, и его физиономия умиляется. Его сердце бьется, рука машет в воздушном пространстве, а подвыпившие губы лепечут:

— О, Россия, как я люблю тебя!..

За такое признание мои сограждане берут его и качают, после чего поздравляют членом географического, вольно-экономического и литературного обществ: первого — за то, что Иван Флюгаркин в спиче заявил, что в Ташкенте есть шелковичный червь; второго — за сообщение сведений о том, что в Ташкенте есть бараны, весьма сходные с русскими; а третьего — за десятирублевую бумажку...

Ташкентцы уехали, и наш друг на несколько дней ходит в сюртуке и поправился желудком... Но вот я вижу на его лице печаль, т. е. не то, чтобы и в самом деле печаль, а так что-то также вроде печали. Его гладко причесанная, в меру выстриженная голова с проседью, до некоторой степени, склоняется книзу; его собачьи глазки, и вообще вся фигура его напоминает собою Милордку с опущенным после хозяйского дубья хвостом.

— Что с вами, Иван Андреевич? — спрашиваю я его как фельетонист довольно легковверным тоном...

— И вы спрашиваете?.. американские наши владения... Слышали?.. Нет, нет, никогда... никогда!..

— Да что ж тут такого?..

— Наши владения... Нет, как хотите, обидно!..

Однако на другой день после официального заявления Иван Флюгаркин опять принял вид накормленной левретки...

— А ведь дельце не дурно... кто бы думал... Семь миллионов... Союз вечный... а англичанину-то что?.. То-то...

И собачьи глазки подмигнули...

Но я отошел от моего приятеля и пошел на Адмиралтейскую площадь, где русский народ смотрел на человека, одетого медведем, и громко смеялся, когда медведь бил лапой по лицу маленькой девочки, стоявшей на карусели.

Дело было на Святой, и народу было много около этой девочки. Это была очень молодая девочка, с виду не более восьми лет; но она уже танцевала канкан, как большая, и пела хриплым голосом очень разухабистую песню.

Она пела, конечно, без всякого участия; она танцевала тоже без всякого участия, и если лицо ее (небольшое и уже несвежее лицо с нахальными черными глазками) смеялось, то вовсе не потому, что действительно было смешно, а потому только, что иначе хозяин может дать тукманку. И все глядели на нее, и все одобряли ее. Но вдруг на щеке девочки разбилось

брошенное из толпы яйцо, и девочка с укором взглянула вниз и залилась горячими слезами...

О, это было весьма смешное зрелище, и многие хохотали. Несколько сиволаных, было, хотели заметить, что это «мол» не дело, но раздающиеся выстрелы из балагана, выстрелы, свидетельствовавшие о подвиге рядового Абликамирова, заглушили эти заявления.

Я прошел прочь от этого зрелища и верно бы протестовал против подобного поступка, если б вообще мог протестовать против поступков; но я мог протестовать только против погоды; действительно, полил дождь, я сел на извозчика и поехал обедать...

Там, где я обедал (где именно—я никак не скажу), было много гостей и там не кидали яйцами в лица девочек, о нет! Там, напротив, учили девочек мудрым советам, в которых слова «*купля* и *продажа*» занимали такое же видное место, какое занимает вывеска господина Карповича — «Гласная касса ссуд».

И на это я не протестовал, а только глядел по сторонам и видел, что около меня действительно сидели мудрецы и между ними был и наш друг Иван Флюгаркин; и так он на меня торжественно посмотрел, его глаза горели таким блаженством, кивок головой был до того важен, а фрак так ловко сидел, что я несомненно заключил, что к нам скоро приедут славяне и что

1) их повезут,

2) их будут кормить,

3) им будут говорить спичи,

4) им покажут «Жизнь за царя» и освищут польский танец... и

5) вообще их угостят лучше ташкентцев и будут кричать не «ала», а «слава».

Мужики столбятся где-нибудь и тоже, конечно, будут кричать (или у них голосов нет, что ли?) и опять не вполне будут знать, кому они кричат. Это, однако, не мешает фельетонисту заявить, что «и сладко, и отраднo было видеть, как радушно наши мужички встречали своих единоплеменных братьев».

«— Приезд славян, господа, в настоящее время, когда восточный вопрос переживает критическую эпоху, весьма знаменателен. Не говоря уже об единении столь сильного и многочисленного племени, не говоря уже о важном значении для науки...».

Так начал беседовать Иван Флюгаркин, обращаясь к амфитриону и прочим гостям.

Я раньше сказал, что я сидел между мудрецов.

Их было довольно, и они все были в том возрасте, в котором должны быть умеренные либералы, именно от тридцати пяти до сорока пяти лет.

Из них № 1-й перебил Ивана Флюгаркина и заявил, что единение, конечно, вещь хорошая и принесет плоды;

№ 2-й «позволил себе не согласиться» и заметил, что территория наша препятствует;

№ 3-й, разделяя до некоторой степени мнение № 2, должен был, однако, сказать, что территория наша этому не препятствует;

№ 4-й разгорячился и повел речь о том, что немцы с Бисмарком выдумали обезьяну, и потому славянам следует соединиться и тоже что-нибудь выдумать...

Много еще было разговору, и разговор шел в завлекательном тоне... Сперва единение, а после Константинополь, а потом «мы будем великою нацией», — заметил Иван Флюгаркин.

Потом, когда все достаточно выпили, языки мудрецов повели иную речь, и в затрапезной стало шумно...

— Бить их... Сокрушить их...

— Долой, мировые судьи...

— Сокрушить...

И так как они были в том состоянии, когда трудно бывает отличить вице-губернатора от пустой бутылки, то они стали сокрушать рюмки и стаканы...

И стало там безобразно... Эти пьяные глаза стали свергать огнем, пьяные языки лепетали гнусные слова...

Но вдруг отворилась дверь и вошел полицейский чиновник.

Полицейский чиновник вошел просто по той причине, что был послан с каким-то сообщением от своего начальника к амфитриону — тоже начальнику.

Но мудрецы этого не поняли, и в их песнях глазах совершилась метаморфоза. Они стали робки, как бараны. Их умеренно-либеральные торсы умалились до степени пассажного карлика. Их мудрые головы склонились совсем вниз, а пьяные губы словно лепетали:

— Мы, ей-богу, ничего... Мы вот только о сокращении штатов...

Но недоразумение разъяснилось, и я тем временем ушел и не знаю, что было дальше...

И разве мы не живем?.. И после этого, кто осмелится мне заметить, что общественной жизни нет?..

Славяне приехали; их возили, угощали и, действительно, освистали польский танец. Все говорили спичи, многие говорили и стихи. Газетчикам есть материал... Фельетонисты, словно гончие, носятся следом за славянами из суда в театр, из театра в думу и зарабатывают в поте лица свои копейки...

Я, конечно, не имею ничего против обеда и выпивки; но если кто из читателей спросит: «что из этого выйдет», то я его попрошу обратиться к речам моих мудрецов.

Этих мудрецов — гибель. И все они делятся по желаниям на три категории.

Первая хочет — место Петра Иваныча, уничтожения мирового института, ястребиного полета и возможности не платить рабочему.

Вторая — место Алексея Антоныча, собственного дома и возможности не платить рабочему.

Третья — место Александра Петровича, кареты и возможности не платить рабочему.

Ибо рабочий — мужик... О, мужик, тыфу!..

Положим и он человек, но разве Зайцев не писал о неграх?..

И разве Скарятин не доказал, что...

Отворотись, читатель, от всего этого и верь... Нет, ничему не верь, ибо долго, долго еще мы ничего не будем делать, кроме прогулок по Летнему саду в день майского парада...

И странное дело право... Я всегда замечаю, что сойдутся где наши младшие братья, сейчас разговор у них принимает совсем не торжественный, а какой-то больничный характер. То они делают предположения о том, что больней, когда «тебе вдарят в скулы или когда тебя вдарят в шею»; то они беседуют о том, что им не заплатили «рубль тридцать три копейки» и что ты теперча сдыхай, или, наконец, «онамнясь послал домой пять с полтиной, а отец пишет: „Еще любезный сын, Миколай Андронович, уведомляем, что мы, слава богу, все в благополучии, да только скотина все падает, и потому ежели ты вышлешь на скотину еще пять рублей, то уж мы и не знаем, как тебя благодарить...“»

Ну, и все в таком же смысле. Неужели же их не занимают славяне! О, какой же это темный народ!..

— Извозчик! Видел ты славян...

— Кого-сь?

- Славян.
 — Это анонхьясь приехали? Как же, видел... Ничего, бравый народ..
 — Ты их любишь?
 — А мне што... Вот, барин, понече овес, пропади он, дорог!
 Ему что?! Слышите ли?
 Пойду лучше поразвлекчяся в балет...



ОТ ДОМИНИКА

Рисунок карандашом В. М. Васнецова, 1874 г.

Третьяковская галерея, Москва

Если я скажу, что балет играет в нашем развитии немаловажную роль, то я, надеюсь, не скажу ничего абсурдного. И в самом деле, где, как не в Большом театре, многие получают свое окончательное миросозерцание? Где, как не там, забивается впервые юное сердце Ивана Флюгаркина? Где же, как не там, Иван Флюгаркин запоет свою последнюю любовную песнь, созерцая формы и поощряя формы красивой женщины? И где же, как не в блестящей зале, отдохнет он от своих трудов тяжких?

И мудро ли после этого, что балет русский — диво балетов и что русская жизнь показывает нам, что русские ноги — лучшие ноги... Если та же жизнь не дает особенно сообразительных голов, то взамен дает хорошие ноги, следовательно, надо взглянуть на них с уважением как на результат отечественной производительности и цивилизации.

Отсюда — нельзя не любить балета...

Я очень часто усмехаюсь, когда фельетонисты проходят мимо описания балетных представлений с такой же миной, с какой отходит собака от дымящей папирасы... Вот хоть бы W. Он никогда не описывает балетов. А что он мастер описывать, это свидетельствуют его необыкновенно умные статьи о театре. Я должен предположить, что он этого не делает из желания казаться серьезным.

И никогда никто не определял значения балетного дела в России и степень его влияния на цивилизацию. Это была бы весьма интересная статья, которая могла бы напечататься у Хана, под покровительством Н. Соловьева.

(Кстати, знаешь ли, читатель, отчего статьи Соловьева не признаны гениальными? Потому, что фельетонисты не подписываются. Это заявил г-н Соловьев.)

Подобные мысли пробегали в моей голове, когда я шел к Большому театру. Я вошел в залу театра именно в то время, когда сотни девиц, одетых в белые платья, танцевали, изображая невинных гениев.

Но, боже! Какие злые глаза были у многих зрителей. Казалось, им (этим глазам) было досадно, что танцовки хоть на подмостках ристалища могут казаться невинными... Они словно хотели выскочить из лож и растерзать за это невинных гениев. И если этого не сделали, то потому только, что их сдерживало приличие. Они все были приличны: они были гладко выбриты, отлично одеты, изящно гантированы*, и лица их блистали довольством.

Я стал смотреть на зрителей и, переходя от одного к другому, я переходил от подвига к подвигу, от истории к истории, и если я не упал в обморок, то потому только, что около меня сидел один из чинов полиции.

Довольно! Не гляди туда... Все эти ходячие истории разольют в тебе желчь, и ты не успеешь успокоиться даже сотней невинных гениев, танцующих и веселящихся, и говорящих ногами:

«| — Как светло... как отрадно им живется... И музыка отбивала такт, и барабан поддакивал...

Однако опустили занавес, и публика стала волноваться.

Я люблю, когда волнуется публика, тем более, что она волнуется всегда сообразно своему воспитанию.

Теперь она волновалась, потому что Петипа хорошо сложена, и вызывала Петипа. Петипа вышла, поблагодарив за волнение кивком грезовской головки.

Я слышал — около меня рассуждали, — что Петипа нынче стала хуже танцевать, что она делает неверные выверты. Мне до этого вовсе нет дела, я видел перед собою грациозное создание; я видел глаза, которые никого съест не хотят. И за то я без злобы смотрел на эти глаза, и если во мне певелилось сожаление, то одно только: зачем это создание на театральных подмостках...

Все это, быть может, и глупо, но мне, право, стало жаль на минуту танцовку... В голове моей немедленно сложился вероятный склад ее жизни, ее детство, ее школа и под конец ее блестящая участь — быть развлечением для ловеласов...

* От франц. *ganter* — надевать перчатки. — *Ред.*

Я загляделся на одно прелестное создание, помещавшееся в бенуаре. Это прелестное создание было в голубом дорогом шелковом платье и на плечах носило головку с голубыми невинными глазками...

— На кого это вы смотрите, — подслужился мне сосед справа. — Это известная...

И он мне сказал имя.

Тут поднялся занавес. Но...

Я не стану рассказывать, что было дальше. Скажу только, что, по милости Гольца, Эсмеральду ложно обвинили в убийстве и повели к допросу... Скоро явились и судьи и обвинили ее на смерть. И несмотря на то, что Петипа показывала на театральном потолке, призывая хоть его в свидетели невинности, ее осудили... И она пошла, печальная и растерзанная.

Да... ее повели; но сосед мой справа шепнул, что в последнем акте ее простят, потому что убитый Гольцем окажется только раненым...

Я порадовался этому случаю.

Балетные судьи не приняли на себя греха, и хотя и не слыхали, что и при суде присяжных на пять приговоров всегда один бывает ложный, все-таки пошли за кулисы с спокойным сердцем и неусталыми ногами, ибо судейское платье им мешало танцевать.

Однако, когда кончилась «Эсмеральда», заиграли марш и под звуки его прошли взрослые люди. Но вот они расставились по бокам сцены и из кулис вышли два ребенка и стали танцевать. Это были дети: мальчику не более десяти лет, девочке — девяти. Танцевали они, изображая мужа и жену...

Весь театр заплодировал. Все забесновались. Все были рады, что дети уже стояли своими молодыми ножонками на краю пропасти. Все были счастливы, что девятилетняя девочка уже кокетничает, а мальчик целует ее с лукавой улыбкой...

Старики торжествовали. Они видели торжество их идеи. Они глядели на детские личики, уже обезображенные их порочным дыханием.

И дети танцевали и, когда кончили, никто им не бросил яйца, как то было в балагане, но им сделали хуже: их заставили повторить.

И дети повторили и сделали ручку публике.

И не было ни единого свистка...

Только, нечаянно взглянув на верхнюю ложу, я увидел, как по лицу одной молодой женщины скатилась безмолвная слеза. Одна слеза почтила детскую гибель. Остальные люди хохотали...

Когда кончился спектакль, я думал, что без шуток вышла бы интересная статья: влияние балета на цивилизацию.

Скоро мимо меня понесли кареты и останавливались перед большими домами и ресторанами. И среди шума и света людского мне снова являлись на память эти два детские личика, друг друга целующие и за это получающие аплодисменты публики. А их учителя, их покровители гордятся успехом своих питомцев, не подозревая, что может из этого выйти.

А быть может, и ничего не выйдет, и я понапрасно расчувствовался. Выйдут тупоумные танцоры. Так разве мало тупоумных людей!..

Я не был на славянском обеде, потому еще, что знал вперед, какими стихами и какими блюдами будут угощать меня. Я любил прежде стихи, но после того, как узнал, что даже лучшие поэты говорят: «Не громка моя лира», — я вовсе разлюбил русские стихи, потому что они под конец одеваются в такую ливрейную одежду, которая и без них на каждом шагу кидается в глаза.

Я остался дома и стал просматривать газеты. Конечно, мое сердце наполнилось самыми торжественными чувствами, потому что я узнал,

что Андрей Александрович Краевский хочет единения славян, господа Артоболовский и Юркевич хотят воспользоваться с пользою временным приостановлением своих газет, случившимся «по многим обстоятельствам», господин Скарятин хочет... но кто же не знает, чего он хочет, и кто же не знает, чего они все хотят?

— Да. Теперь такое время, что мы все швейцары!..

Подобную умную речь, с год тому назад, я слышал от одного высокого барина, бывшего предводителя и жениха губернской управы — жениха потому, что он к управе питал нежные чувства, но все-таки не стал ее мужем...

Барин этот — интересный барин. Он был когда-то в университете, и так как это было давно, то он не читал Фохта, а маршировал; потом он был кирасиром, и так как это было давно, то он гордился выпивкой десяти бутылок шампанского сразу; потом он пустился в коммерческие дела, и так как это было давно, то он не сочинил никакой концессии, а просто схватил пай в откупах. Но наступило такое время, когда хвалились повести Скарвонского и когда вице-губернаторы стали носить *pinse-nez* и говорить по поводу всякого случая умные речи — тогда и высокий барин бросил откупа и стал говорить умные речи. Потом (и это было недавно) он предводительствовал и устраивал разные гимназии и говорил, что «не время теперь спать». Потом он сочинил концессию, два проекта и хлопотал жениться на управе. Но тут случились обстоятельства, и высокий барин круто повернул в другую сторону. Он не женился на управе, но получил лучшее место и снова стал думать, что «экзакуция» — одно спасение...

— Да. Теперь мы все швейцары и, кто больше платит, тому мы и служим, как служило наемное швейцарское войско...

Именно, мы все наемники от околодочного до составителя передовых статей и кто больше даст, тому наше перо. Это выгодно и, следовательно, тут больше рассуждать нечего, ибо если я стану приводить факты, то у меня не хватит ни бумаги, ни чернил...

А я их берегу для того, чтобы восхититься Незнакомцем... Вы, господа, знаете Незнакомца? — Нет? Ну, так я вам скажу: это фельетонист «С.-Петербургских ведомостей» и очень солидный фельетонист... Но боже! Как быстро все идет на свете!.. Прежде (и это было с год тому назад, не более) я проливал слезы умиления над его фельетонами, а теперь слезы, где вы?.. Прежде в этих фельетонах я видел скрытые слезы, а теперь, где вы, слезы фельетонные?.. Прежде Незнакомец не распекал никого и не ругал женщину за то, что она пишет статьи, а теперь?..

Я вспоминаю одну собаку. Это была во время своей молодости хорошая, честная и полезная собака. Но она отбелась, зажирнела и обратилась в комнатного жирного пуделя, пользовавшегося лаской барина. И вот с той поры...

Но затем я отрываюсь к грустным воспоминаниям, что мой старый пудель перешел в акционерное управление и что с тех пор я его не видал.

Прочь воспоминания!..

Да. Незнакомец распекать стал и больше всего с тех пор, как прочел «Дым»... «Дым» ему шибко нравится, до того нравится, что он даже распекает, цитируя из этого романа... И за то, что «Гласный суд» ничего не сказал о славянах, Незнакомец ему делает выговор и замечает, что это школьническая выходка и ниже даже *губаревской* демонстрации...

Чудеса делаются с Незнакомцем, и я непременно тут же бы разрыдался над его распекающим тоном (напоминающим тон либерального советника палаты), если бы только мне не пришел на память старый пудель, поступивший в акциз...

Кстати, чтобы перестать о Незнакомце, меня просили заявить, что А. Ж., сочиняющий критические фельетоны для «С.-Петербургских ведомостей», верно не читал повести г-жи М—ой, напечатанной в «Женском вестнике», и при этом и сам грешит тем же грехом, против которого ругает в своем фельетоне, т. е. инсинуацией.

Все мы там будем!.. Но все же нельзя не проводить напутствием в ту страну, откуда выходят только в околоточные надзиратели и <в> солидные журналисты.

О, не распекайте, не распекайте меня!.. Мне будет больно от ваших острот, у меня перевернется сердце, и я, быть может, не получу места...

О, не будьте строгим вице-губернатором! Позвольте женщине писать и употреблять, если вздумается, выражение «на какого рожна» и носить или не носить кринолины...

И если после славянских обедов ваше расположение будет благодушной, прочтите всю повесть М—ой. Я рекомендую это не потому, чтобы повесть эта была замечательной вещью, а потому, чтобы вам дать средство заметить свою ошибку, а мне окончательно распространиться с вами и отправиться в Александринский театр...

Там шел бенефис господина Алексева и играли пьесу господина Дьяченко «Светская любовь». Это такая странная пьеса, что я о ней ни слова не скажу, потому что говорить о ней значит рассказывать очень скучную гниль, которая заставит читателя плюнуть и попросить рассказать что-нибудь другое...

Ну, пожалуй, я расскажу о пьесе г. Бутковского «Женский клуб», где выведены какие-то нигилистки. Очевидно, эта пьеса принадлежит к числу таких произведений, о которых мало сказать, что они глупы... Эта пьеса пошлая, и остроты ее напоминают Адмиралтейскую площадь,



ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА.
САТИРИЧЕСКИЙ ОТКЛИК
НА ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОЖАРЫ
1862-го ГОДА

Д о м.— Посмотрите, я горю, уж
и на вас садится сажа.

Д р у г о й.— Пускай, лишь пла-
мени и света

Не занесла бы сажа эта,
А копоть — ничего.

«Дома» — (слева) Министерство
внутренних дел, здание которого
пострадало во время пожара. На
крыше — министр П. А. Валуев;
(справа) Министерство просвеще-
ния. На крыше — министр А. В. Го-
ловнин

Рисунок Н. А. Степанова
Предназначался для журнала
«Искра», 1862 г.

Публичная библиотека
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина,
Ленинград

*Домі. — Посмотрите, я горю, уж и на
вас садится сажа.*

*Другой. Пускай, лишь пламени и света,
не занесла бы сажа эта,
А копоть — ничего.*

а автор ее, г. Бутковский, по справедливости может сравниться с авторами представлений, даваемых в балаганах, и то не рублевых, а двугривенных...

Все это, однако, нисколько не помешало некоторой части публики одобрить автора... Впрочем, кого только не поощряет эта добрая, эта вертлявая часть русской публики...

И если слишком малое меньшинство из этой публики хоть свистком захочет протестовать, то кто же, как не престарелый Иван Иванович, скажет за вечерним чаем своим домочадцам:

— Слышали?.. Каково это?.. И ты думаешь, отчего они кричат?.. Просто оттого, что у них, у подлецов, средств нет... А дай им средства...

— Однако же,— замечает дочка,— Иванову и место предлагали хорошее и невесту богатую — он все-таки отказался.

— Молод, вот и вся причина... После одумается. Ты мне сказала один пример, а я тебе их скажу десятки...

И кредит веры в честных людей подрывается в уме молодой девушки десятками примеров практического мудреца. И долго в раздумье будет сидеть это молодое создание и в ее голове будут бродить вопрос за вопросом, сомнение за сомнением... И мало-помалу ее неустановившийся характер будет склоняться на сторону мещанского мира и довольства, и она будет там, где и большинство наших сестер, потому что надо быть Елизаветой Блэкуель, чтобы пробиться сквозь крепкие стены на вольный воздух.

Я знал такую молодую женщину. Я видел ее замужем за мещанином с головы до ног и видел ее довольною, веселою и, по-видимому, наслаждавшеюся жизнью.

Но бывали минуты (и дорого, должно быть, стоили ей эти минуты), когда она глядела своими темными большими глазами на лоснящееся от жира и улыбающееся от довольства лицо своего мужа с такой грустью, с таким укором, что сжатые ее губы ясно для меня шептали:

— Что вы со мной сделали... Что вы из меня сделали!!!

Сначала подобные взгляды бывали чаще, потом реже, реже. Жизнь казалась совершенно легкою вещью, и перемена любовников (непременное следствие таких брачных сожительств) таким же удобством, каким для «Голоса» перемена мнений...

Надо быть Елизаветой Блэкуель, чтобы пробиться даже в Америке, но тем более чести, если у нас некоторые-таки устраивают себе жизнь по-своему и, не обращая внимания на змеиное кругом шипение, идут вперед, учась и трудясь и давая все шансы ожидать от них таких матерей, которые бы сумели приготовить если не настоящих деятелей (чтобы быть деятелем, надо иметь много благоприятных условий), то, по крайней мере, людей, сумевших постоять за что-нибудь... И тогда только можно ждать, что мещанский жир не будет пробираться во все слои образованных людей, и тогда только наши родные Иваны Иванычи не в состоянии будут подрывать у молодой дочери кредита и веры в полезность честной жизни...

И только при таких обстоятельствах может не быть, с одной стороны, какого-то хлыщеватого удовлетворения грошовой добродетелью, с другой — какого-то плаксивого хныкания, или жизнь идет не на розах... Если обстоятельства и плохи, то надо хоть по возможности противостоять им...

.....
 Много пишут о несчастном положении трудящихся женщин в Петербурге, и много предполагается мер против этого положения, но все это такие паллиативные меры, которые особенно блестящих результатов не

дают и самого зла не искореняют. Но больший или меньший успех дела зависит, конечно, от того, какие люди и какие взгляды руководят этими обществами.

Общество «Пособия бедным женщинам» сделало умно, что на днях напечатало месячный отчет о своей деятельности. Вот он: «Магазин женских изделий „Общества пособия бедным женщинам“ (на углу Вознесенской и Офицерской, дом Ланского) в апреле 1867 года получил заказов 85; цифра эта, хотя против предшествующего месяца несколько и меньше (в марте было заказов 93), но, приняв в соображение, что в течение апреля было почти две недели праздничных, когда заказов вовсе не бывает, можно считать, что заказов не уменьшилось; затем, образцов для фасонов на выставку и на продажу к 1 мая оставалось 75; готовых вещей, принятых на комиссию, состояло в магазине к 1 апреля 136, в течение апреля прибавилось 66, за исключением проданных и возвращенных, оставалось вещей к 1 мая 167. Рабочей платы мастерам выдано в апреле 229 руб., против марта несколько меньше (233 руб.), но, если принять в расчет те же две праздничные недели в апреле, окажется, что и относительно общей суммы заработанной платы, она против предыдущего месяца не уменьшилась; что же касается высшего размера рабочей платы, то он в истекший месяц положительно увеличился, а именно дошел до 23 руб., между тем как в марте не превышал 15 руб.; наконец, *прибыль* магазина, т. е. проценты с рабочей платы и с готовых вещей, а также прибыль с материала настолько уже велика, что $\frac{2}{3}$ расходов, собственно по *содержанию* магазина, покрываются из этого источника».

Но все это капли... капли... и капли... Если их будет много, то будет ручей... Но не надо забывать, что Россия всем обильна и что страждущих в ней очень много как в самом Петербурге, так и в каком-нибудь заштатном Воскресенске (где, кстати замечу, недавно бегал *какой-то зверь*, перекусавший много людей). И что если обстоятельства не укажут, как помочь этому; умиляться всем этим паллиативным мерам благотворительности, значит, радоваться, что у человека, имеющего долгу тысячу рублей, есть 3 руб. в кармане.

Если тебе, читатель, сделалось не в меру грустно, то скорей собирайся на дачу.

Там будет светло, зелено и радостно... Там будешь на свободе гулять, дышать воздухом и вообразишь на минуту, что ты и в самом деле на свободе...

Там ты не увидишь того, что видишь в городе и к чему ты так странно привыкаешь, зато там ты познакомишься с одним очень почтенным старичком — Никифором Ивановичем.

Я его вижу всегда. Да он, кажется, и бывает везде. Это преобходимый старичок — маленький, сморщенный, чистенький, с гладко причесанной головкой и с маленькими лисьими глазками... Когда он на меня смотрит этими глазами, мне всегда хочется уйти от него, но он непременно подойдет и скажет:

— Не правда ли, чудная погода?..

— Ничего, недурно...

— И главное, заметьте... Впрочем, может быть, я вас задерживаю... Заметьте (продолжают глазки), как солнышко подпекает... Вы-с недавно переехали?..

— Недавно...

— И отлично сделали... А то в городе что... Тяжело, тяжело дышать... Эти вечные стеснения... Вы не удивляйтесь, молодой человек, я хоть и старик, но либерал, и...

Но я бегу от этого либерала (советую всем остерегаться этого чистенького старичка с лисьими глазками) и отправляюсь к Излеру.

И как мы благодушно смеемся, сидя у Излера... Мещанские наши добродетели позволяют нам плакать только тогда, когда нас покидает начальник или когда горчица чересчур крепка.

Мы не плачем иначе, нет! Мы добродушно смеемся и гуляем в своем обществе. Мы даже не обращаем большого внимания на то, что наш брат с бараньей головой смазал по лицу какой-то женщине и со словами: «Bon soir, ma biche» * отвернул с самодовольствием свое баранье лицо.

Мы хихикаем и только говорим:

— Вообразите!!

Но никто ничего не воображает...

Мы смеемся и опять добродушно смеемся, слушая похождения Василия Развиваева, создавшего себе профессию развивать барышень, т. е. говорить им туманно-либеральные фразы, и впоследствии хуже любого старика разбивать их светлую веру...

Мы смеемся и говорим:

— Чем же он виноват, что он холоден и что в него барышни влюбляются!..

Мы начинаем входить по пояс в мещанскую тину.

Мы не замечаем уже, что мирно благодушествуем рука об руку с теми разжиревшими мещанами, от которых прежде мы бы отвернулись; теперь же, соблюдая приличие, мы им жмем руку и говорим: «ах, как приятно!» И они нам жмут руки и говорят: «ах, как приятно!»

Мы окончательно тонем в мещанской грязи, которая и ляжет тяжелым пятном на наших детях...

И мы, сидя в ней по горло, еще улыбаемся, как улыбаются телята или филистеры...

Это, конечно, всё думы... Но и одни думы — попасть в объятия мещанства, пугают до болезненности.

О берегись его, читатель!

〈III. ИЮЛЬ 1867 г.〉

Летом, обыкновенно, наши журналисты являют страстное и непреодолимое желание устроить наше любезное отечество. Вероятно, на них оказывает такое влияние жаркое время; каждый из них из кожи лезет вон, чтоб, собственным умом выдумав какую-нибудь обезьяну, предложить ее всеобщему вниманию. Поэтому на сцену является все: Турция и Гусев переулочек, славяне и подслушанная сплетня, словом, все до скандала включительно.

— Я выдумал, ей-богу, выдумал, господа, — поет «Голос». — Вся беда оттого, что мы не слились со славянами. Сольемся с ними (конечно, если ближайшее начальство согласится), ей-ей сольемся... Народ хороший, право!..

— Оно, видите ли, все зависит от постепенности и от земства, — угрюмо говорит угрюмый шрифт огромнейшей простыни господина В. Корша. — Тихим шагом марш... Только чур, господа, идти тихохонько, иначе не одобряю... Но главное: кайтесь, граждане, кайтесь!.. Кайтесь! И вас, конечно, пригреют, если вы искренно бросите прежнюю дорогу и вернетесь в лоно благоразумия... Каяться никогда не поздно, хотя бы вы (по глупости) и читали прежде заграничные русские издания, — взывает воскресный фельетон той же простыни...

— Стой, братцы, стой! — кричит Н. Соловьев. — Ведь вы не так сидите. От этого и музыка не идет. Знаете ли, кто самую настоящую обезьяну выдумал? Ведь это я, ей-богу, я — Николай Соловьев... И если хо-

* Добрый вечер, козочка (франц.).

тите спастись, вот что надо сделать: надо собраться всем литераторам вместе и затянуть, да только непременно хором: «Эх, дубинушка, ухнем!» Это чисто русская песня, а в ней все спасенье. На ней мы разошлись; на ней же мы и сойдемся («Всемирный труд». Июнь).

— Ай да «Дым!» Никто его не понял, кроме меня. «Дым!» «Дым!» — подает голос из толстого «Вестника Европы» г. Анненков.

Мои уши до того привыкли в последнее время ко всяким возгласам, что они нисколько не пугаются никакими обстоятельствами, показывающими даже, что в известной части журналистики и ложь на собрата, получив право гражданства, окончательно опошлится.

Все это напоминает мне небольшую историю, и я непременно ее расскажу. Надеюсь, что читатели не будут на меня в претензии, что действие будет происходить в людской одного очень богатого помещика.

Эта история (бывшая еще во время крепостного права) пришла мне на память после чтения книжки г. Любавского — «Русские уголовные процессы», в которой есть много интересных дел о наших помещиках до эмансипации крестьян. И вот я вспомнил тоже оригинальную повесть этого времени.

У нашего помещика была большая дворня и, конечно, вследствие известных причин отличалась настоящим холопством... Дворня была так велика, что часто ей решительно нечего было делать, и потому часто ругалась, ссорилась между собой, сплетничала друг на друга, хотя в сущности все были между собой братья...

Помещик обширного имени В-ой губернии был большой эксцентрик; он бывал за границей, видел тамошние порядки и, возвратившись в свое имение, захотел сблизиться с крестьянами и через своих дворовых узнать о их нуждах.

И стали дворовые рассуждать и предлагать разные меры, как охранять озеро от чужих рыболовов, как сберегать лес и проч. Хотя помещик никогда их и не слушал, он любил все сам делать, но тем не менее холопы возрадовались неописуемо и стали друг перед другом хвалиться, кто лучше языком взболтнет и сумеет поддакнуть барину.

Их соревнование и желание друг перед другом задавать форсу надумило их подслушивать барские разговоры. Барин, сидя за обедом, скажет барыне: «Надо старосту Акима долой... он шельма!», а Сенька (ловчак-бестия был), бывало, первый это подслушает и сейчас же придет в застольную, насунит свою рожу и будто сам от себя предложит:

— А что, братцы, я вам скажу... По моему разумению, староста Аким у нас шельма... Надо бы его по боку. Я доложу господину управляющему. И идет докладывать.

— Пошел прочь! Без тебя сделано, — ответит ему, бывало, управляющий (а управляющий этот, надо вам сказать, был презанозистый человек).

И даже ин раз даст пинка Сеньке. Но Сенька ничего; только встряхнется по-расплюевски и, войдя в людскую, скорчит самую важнецкую рожу.

— Я говорил, что старосту надо прочь... Вот его и согнали. Каково это, братцы?..

И, бывало, героем таким смотрит на других.

А то иногда и Капитон-бирюк (так прозвали в людской Капитона за его сумрачный, будто недовольный вид) захочет что-нибудь обсудить, и скажет:

— А знаете ли, братцы? Соседа нашего Пентюшкина надо бояться...

— Как? Почему? За что?.. — подымут вой собеседники.

— Я говорю — бояться, значит — бояться! Потому, наемни отцова пришел мужик; рассказывает, что наших там вздули. Дай-ка об этом пойду скажу управляющему.

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС РАЗРЪШЕННЫЙ НАГЛЯДНО.

(М. М. Знаменская)



Грав. Фрейнд.

— Решительно непонимаю, чего
нашей русской женщин нужно?
чего ей недостает?!

Хочет ли она деятельности?

— Къ ей услужить — целый арсеналъ
орудій.

Умственной ли хочет
вниманія?

— По ея специальности — у насъ
уголъ непочтитель.

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС.

Карикатура. Гравюра Фрейнда
«Искра».

И пойдет докладывать своим тяжелым, неповоротливым языком.

— Пошел прочь! — опять пнет его, бывало, управляющий Андрей Карныч. — Без тебя, дурака, знаем!.. Дело ладком покончим. Пошлем к Пентюшкину Кузьку-приказчика. Он ловок говорить, дело обработает...

Капитон-бирюк еще угрюмей вернется назад в застольную, еще более насупит свое лицо и, будто раздумывая, важно вымолвит:

— Шел я, братцы, да по дороге все раздумывал, как нам с Пентюшкиным быть. К чему нам с ним ссору затевать... Так ли?.. Лучше, мол, ладком с ним сделаться... Послать, мол, к нему Кузьку-приказчика, он — мастак зубы заговаривать. Так я и доложил управляющему. Так тому и быть!..

— Ай да мы! — оскалит, бывало, зубы веселый Фомка-лакей. — Вот мы как... Только разоидись... Вот, братцы, мы теперь предложим, чтобы Лариона-бурмистра сменить... Все дело в усадьбе портит... Опомнясь при мне избил двоих мужиков... Мы его за это сменим. Только погоди!..

Только, бывало, подслушает такие речи управляющий да прикрикнет на них покрепче, глядишь, кто куда попрячется.

Осторожно, не вдруг, снова соберутся все через несколько минут в застольную и станут корить Фомку.

— Чего лез... Аль тебя просили?..

— Да я так, только пошутил...

— Вперед не шути.

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС РАЗРЕШЕННЫЙ НАГЛЯДНО.

(М. М. Знаменскому)



Рис. Фролов.

Уважения ли къ ее полу—любви?

— Выйди только одна на улицу, и досажда явятся съ
услугами проводить и съ предложениями похвалить.

Свободы ли изъ дѣйствійхъ?

— Богъ съ нами, да выберите какую хотите матерью
никто вамъ слова не скажетъ.

РАЗРЕШЕННЫЙ НАГЛЯДНО

с рисунка М. М. Знаменского

1863, № 23

— Поймай, братцы, — крикнул Сенька. — Гони Фомку вон!.. Ступай. Федя, скажи барину, что Фомка мутит...

— Братцы, за что?..

— Иди сказывай, что Фомка барина ругает.

— Братцы... Я не в жисть...

— Ладно. Из-за тебя всех... Поди, Федя, скажи барину, что Фомка позавчера варенье барское лизал...

Но тут уж Фомка озлился.

— А кто у попадьи пятак уворовал, а?..

Сенька жметя и краснеет.

— А кто, — продолжает Фомка, — «Бову-Королевича» предлагал ребятам читать, а?..

Сенька окончательно трусит и говорит, что он шутил. И идет часто между ними такая пря, что даже на стороне слышно...

Но это все было прежде. Теперь с отменением крепостного права дело изменилось и, значит, моя история несколько запоздала своим появлением и, пожалуй, сочтется некоторыми за *очень* давнишнюю историю. В таком случае отвечу читателю, что он может думать, как ему заблагорассудится, я попрошу его следовать за мною в самую глубь провинции и взглянуть на этот маленький, грязный, серенький городок, над которым плачет дождейчик, словно в слезах утопить его хочет. Стучит он в окна небольшого домика, где сидят за работой девушки-мещанки. Шьют они рубахи и в раздумье поднимают свои головы и глядят на

мокрые окна. Не унимается дождь. Пуще колотит в окна и будто выговаривает: «Шей, шей, шей!..»

— Мы бы и рады шить,— отвечает первая работница,— да платы не хватает на жизнь...

— Шей, шей, шей!..

— Мы и рады бы шить,— отвечает другая работница,— да руки коченеют и есть хочется...

— Шей, шей, шей!..

— Мы бы и рады шить, да слезы подступают к горлу!..

С севера налетел ветер и шепчет заунывно около окон.

— Ты скажи, ветер северный, что нового в столице... Лучше что ли там?...

— Там все одно и то же... Плоха на столицу надежда. Шей, шей!..

И пошел гулять ветер, заглядывая в окна маленького города. Вот сидит за книгой маленькая, курчавенькая головка белокуренькой девочки и время от времени поглядывает на окна.

— Мама, отчего это ветер?..— спрашивает девочка, глядя на маму, тоскливо глядящую на улицу.

— Ветер... да оттого, что дует...

— Мама, да отчего же он дует?..

— Боженька приказал.

Сидит девочка и пуще задумалась. Она ищет разрешения задачи в книжке, и мелкие морщинки набегают на ее чистый, девственный лоб. Болезненное лицо ее о чем-то сокрушается, в ее больших карих глазах виднеется какое-то горе, и девочка вдруг жалобно плачет.

— Ну, что с тобой... что?..— досадливо спрашивает мать.

— Ничего, мама.

И пуще жметя она своей головкой к материнской груди. Я вижу на этом милом лице много хороших задатков. Я знаю — эта девочка узнает, отчего дует ветер, но отчего же столько мучений ей приходится терпеть, чтобы узнать эту простую истину. Не для того ли, чтоб ей быть готовой на большие и тяжкие мучения...

— Нет, не учись ты, милая девочка... Нет, не ищи ты истины. Нет! Ты иди к Блондену и ходи по канату!..

И тогда разная шваль холопски тебе будет аплодировать и искать улыбки твоей!..

И тогда старая жизнь падет тебе в ноги и станет предлагать тебе золото и любовь!..

И ты возьми и то и другое. Первое, чтобы заплатить фельетонисту за рекламу, второе для того, чтобы заглушить ненависть...

Девочка успокоилась немного и снова устала глазенки в свою книжку. Мерно стучают часы в комнате. Мать стала раскладывать карты.

— Господи, какая тоска!.. Аксинья!.. В котором часу придет барин?..

— В два, барыня!..

— Еще целый час, боже!..

И ветер шумит, и дождь продолжает плакать над сереньким городом, в котором много людей сторожат уши и ждут — не принесет ли им ветер вестей из Питера...

Но он не несет им ничего, и городок стоит мокренький, словно старушонка-странница среди ровного поля...

Я видел такую старушонку раз проездом в Сибирь. Мимо меня мелькали зеленевшие деревья, между которых изредка попадались человеческие фигуры «несчастненьких», почувствовавших запах весны и пробиравшихся к себе на родину... Но вот впереди появилась черная точка. Подъехав ближе, я разглядел странницу... Это была старуха с таким болезненным, преждевременно состарившимся лицом, которое меня поразило... Я остановился и предложил ей подвезти ее... Она пристально на

меня взглянула своими потухающими глазами и согласилась... Мы поехали вместе, и я награжден был веселой историей...

Ее история была правдивая история, и в ней, к несчастью, было слишком много правды... Странница искала своих дочерей и не находила... Она рассказывала, что у нее были две дочери, два честных создания, но что их взяли и продали... И с той поры она ищет их везде и не находит... Была она и у Каспийского моря, была и в Сибири, и нигде нет и следов их...

— Кто же их взял? — спросил я...

— Их загубили злые люди... Мне их потом показывали, но это не они... Нет... Те были чистые, милые дочери... А эти — были... Нет, это не они... Я их найду!.. — с отчаянием в голосе dokonчила сумасшедшая мать и вдруг соскочила с телеги и пошла большими шагами по лесу...

— Я их найду!.. — раздавался еще сзади меня ее суровый голос...

Я погнался скорей лошадей и тогда только успокоился, когда приехал на станцию...

Все это было еще очень давно, и с тех пор случалось столько таких историй, что они стали слишком обыкновенны, и если занимают еще кого-нибудь, то потому только, что есть еще матери, не продающие своих детей, как есть еще люди (хоть их и мало), не продающие за несколько кредитных рублей свое право глядеть открыто в глаза другим...

Но меня не это занимает в настоящую минуту... Я все думаю о несчастной собачке, погибшей с людьми в Гусевом переулке, которую столь обесмертил составитель отчета о происшествии в Гусевом переулке в газете «Голос». Вы, верно, знаете об этом происшествии? Дело в том (я говорю это для незнающих), что среди белого утра убили четырех человек и до сих пор еще не нашли убийц... И собачка, которая, по словам «Голоса», могла бы служить важным проводником к открытию злодейства, и та умерла, закрыв таким образом все следы к открытию преступления... Все это меня подмывает сказать, как иногда малые причины производят важные дела, и я непременно развил бы эту мысль подробнее, если б не вспомнил, что мне надо убедить мою знакомую барышню не идти к Излеру и не проситься ходить по канату...

Дело в том, что моя знакомая барышня имеет удивительно глупую страсть... читать фельетоны г. Незнакомца... Надеюсь, что никто ее за это не обвинит, ибо мало ли есть людей, имеющих глупые привычки. И вот (о, ужас!) она прочла в одно из воскресений его фельетон и из него заучила такие афоризмы насчет женской эмансипации:

№ 1. «Нет, вы подите пройдитесь по канату — вот это будет штука, а я погляжу...»

№ 2. «Для меня важны энергия и мужество, и перед ними я преклоняюсь...»

№ 3. «А вы хвалитесь (это женщины-то) умственным трудом. Велика важность написать плохую компиляцию... Нет! Вы попробуйте-ка по канату пройтись!..»

Вырезав из газеты штук с десятков подобных афоризмов и остальную бумагу отдав на кухню, барышня эта наклеила их у себя в комнате и стала о них думать, и так как, признаться, ничего не читала кроме фельетонов «С.-Петербургских ведомостей», то стала впадать в уныние, глаза у ней помутились, явился бред, склонность к идиотическому состоянию... короче сказать, она решила идти к Излеру проситься на канат...

И она, верно бы, исполнила свое намерение и, верно бы, восхитила Незнакомца, если бы я ей не принес другие афоризмы и не дал бы выучить их наизусть. Вот они:

1. Нет, вы сумеете-ка набрать материалу на воскресный фельетон, хотя бы и пошлого, и заработать мешочек пятакков. Вот это будет штука, а я погляжу...

2. Для меня важны энергия и мужество, с которыми фельетонист стремится в разряд сочинителей, называемых у нас подслуживающимися...

3. А вы хвалитесь умением сочинить книжку... Нет! Сумейте-ка в одно время и Россию любить, и пяточки зарабатывать, и советовать каяться (в чем?) и окончательно разлагаться...

4. Не штука писать без сплетен... Нет! А вы узнайте-ка на кухне сплетню, назовите-ка ее «разговором учительницы с литераторшей» и, зарабатывая хлеб свой, называйтесь-ка не сплетником, а я погляжу...

Я много еще написал афоризмов, но не все они по своей резкости годятся для фельетона... Показав их и объяснив их смысл барышне, я могу гордиться тем, что я вылечил ее очень скоро, и даже знаю, что она собирается писать в редакцию «С.-Петербургских ведомостей» сама и хочет просить, чтобы господин Незнакомец сперва сам прошелся в саду господина Егарева на канате, а она посмотрит... Или же, если он на это не согласен, то сумеет печатно говорить вещи, достойные хоть Кача, а не такие, в которых бы виляние хвостом бросалось так же в глаза, как и все его афоризмы.

Я не знаю, напечатают ли это письмо «С.-Петербургские ведомости», но знаю одно, что г. Незнакомец мне столько же надоел, сколько надоет мне постоянно вертящийся у ворот моего дома пудель...

А какая это была собака!.. Но она...

Довольно... довольно!..

Мало ли есть афоризмов и мало ли негодных гранок приходится читать и таких, которым бы вместо того, чтобы быть в руках, следовало лежать в мусорной яме для того, чтобы однородные вещи лежали с однородными...

Господи! Мне снова хочется вспомнить историю эксцентричного помещика и Сеньку, и Капитона-бирюка, и Фомку-лакея, но ведь это уж будет чересчур скучно, а главное — зачем же беспокоить их и без того покойное ничтожество...!

Мир им. Гадко говорить больше, тем более, что на меня находит игривое настроение. Я только что узнал, что наш литератор господин Дмитрий Григорович получил почетного легиона. Это мне лестно, ибо я вижу, наконец, что Франция награждает отечественные заслуги... Что, если бы и у нас давали ордена литераторам?

Жарко на дворе, и столица наша, по обыкновению, перебралась на дачи и ездит по вечерам к Излеру, где довольствуется певцами, певицами и танцовками. И вообще жизнь идет себе помаленьку: едят, гуляют, спят... Снова едят и друг другу говорят:

— А Максимилиана-то... Ужасно!..

— Что-то Австрия скажет?..

— Не суйся в чужой огород!..

А вот, на крохотной дачке за чайным столом сидят мать и дочь. Мать — вдова. Дочь — девица.

— Мама, а что мы сделаем, если выиграем 200 000?..

— Купим дачу в Павловске...

— А еще что?..

— А еще дом в Петербурге.

— А еще?..

— А еще найдем тебе жениха...

— То-то... Ах, если бы выиграть...

И снятся им хорошие сны.

Молодая барышня видит яркую картину счастья. Ее мать выиграла. У них дом в Петербурге и в доме этом много блестящих комнат; у подь-

езда швейцар, а в комнатах лакеи в белых галстуках... У них много гостей, и все гости новые — блестящие, статные и красивые. Она сияет в голубом платье, и на нее все смотрят. Но вот к ней подходит красивый господин и говорит:

— А я вас давно люблю... Хотите быть моей женой?

— Я... я... я не знаю, как маменька...

Дело идет на лад. Мать согласна, потому что молодой человек идет по хорошей дороге, по той, которая доводит до петушьей осанки и до глотания слов при разговоре с подчиненными.

Они повенчаны. Они уже неразлучны.

Для них начинается хорошая жизнь. Они принимают гостей, и сами делают визиты; они ездят в театр, и у них своя карета... Они любят друг друга, потому что им друг до друга мало дела. Они тонут в мире и довольстве... У них пять блюд и нет долгов... Они читают газету и сочувствуют необходимости починить мостовую где-нибудь на Лиговке...

Но вот и новая радость... У них дочь.

Для ребенка нанята мамка, а мать хорошеет. Ребенок их забавляет, они его ласкают от нечего делать и внова тонут в мире и довольстве тем более, что муж получил награду...

— Ах, как я счастлива!..

— Ах, как я счастлив! — говорят в избытке чувств супруги и не обманывают никого, потому что у них пять блюд и милые гости... Но вот муж стал часто отлучаться из дому... Является друг дома... Молодой, красивый...

— Вставай... вставай... Чего заспалась... — будит на интересном месте сердитая мать...

— Ну что, мама, мы выиграли?..

— Шиш выиграли... Опять какой-то мужлан выиграл!..

— Что вы, маменька?..

— Нет нам счастья... Выходила бы уж ты поскорее замуж...

— Да за кого?..

— Да за Перепелкина... Ведь есть дурак один... Чего ждать?.. 600 р. жалованья и казенная квартира...

— Да разве он хочет?..

— Сделай, чтобы хотел...

Ровно через неделю после описанного разговора барышня венчалась с господином Перепелкиным, чиновником, у которого на плечах вместо физиономии было заномерованное отношение, начинающееся словами: «на отношение вашего превосходительства» и кончающееся: «имею честь уведомить». — Теперь она мадам Перепелкина и живет на той же даче, где и жила...

Ее надежды разбиты... Но она ждет следующего тиража...

Впрочем, все это в сторону... В настоящую минуту меня занимают сочинения славян, бывших в России. Вообрази, читатель, по некоторым из их наблюдений, оказывается, что у нас полное благоденствие; что сословных различий нет, что офицеры — люди высокообразованные, что бедности — ни, ни... словом... словом, радуйся каждый, сколько может, что он живет в России и что славяне между обедом и театром, между завтраком и осмотром города сумели узнать Россию так близко, хорошо, а главное верно...

Это мне напоминает тех из наших путешественников, которые, наблюдая быт простого человека в окна своей кареты (вроде графа Гаранского), приезжают домой и находят, что жизнь простого человека восхитительна...

— Знаете ли (говорят такие люди вроде лейтенанта Жевакина) у них домик маленький, а в доме семейство... И все так мирно и хорошо...

Черный хлебец... Похлебочка... Молочко... Нет, восхитительно!.. Пасторально...

Я всегда слушаю таких друзей, и передо мной носится картина далеко не такого вида... В этой картине много нищеты и глупости, много безобразия и самовластия, много варварства и лицемерия, но в тумане издалека виднеется что-то другое, в котором нет ничего похожего с первым...

Довольно. Картина эта, может быть, и не верна и напрасно раздражит воображение. Посмотрите-ка вокруг себя...

Птица щебечет, Соловьев поет, «Голос» кричит о мостовой... Кареты мчатся с дамами, господами... А дальше плетется рабочий и рабочая... Всякому свое... И неправда ли, что в это время им всем отлично... хорошо и барину, и барыне... но так же хорошо и рабочему, и работнице...

Ведь правда? Если так, то мне ничего не остается, как кончить, сказав: «Блажен, кто верует, тепло тому на свете».

<IV. АВГУСТ 1867 г.>

Ты знаешь ли, читатель, край, где людям хорошо живется, где нет того мещанского ожирения, с которым разные советники, словно каплуны, ходят в должность, обедают, спят и вечером играют в табельку или проливают слезы умиления, глядя на александринскую драму, в которой наказуется дочь, бежавшая с учителем, и в которой все *лакейское* за исключением собак и лошадей, играющих в пьесе? — Ты знаешь ли край, где не стонут под гнетом бедности и не играют в глазах ловких людей роли винограда для винокура? Ты знаешь ли край, где я бы мог высказывать свои мысли, не опасаясь за них, хотя бы они и нелепы; где я бы мог носить платье, какое хочу (если оно не вредит большинству), не опасаясь, что городничий засадит меня в кутузку? — Ты знаешь ли край, где каждый может интересоваться de-facto* тем, что касается до него, а следовательно, и до всех?..

Нет! Ты не знаешь такого края, и я не знаю его. Ты знаешь другой край, где есть люди, толстые от жира и худые от голода; где первые, словно куры-наседки, сладко дремлют, слушая итальянское пение в опере, а вторые глядят с потухшими глазами в окна, где выставлены сладкие яства «мира сего», и глодают свой черствый кусок, вынося в своем сердце инстинктивный протест против его недостаточности. Ты знаешь край, где, конечно, есть много роскоши, богатства и ананасов, но где в то же время целые области питаются какой-то дрянью, которая из деликатности также называется хлебом, как наши ежедневные листы, испещренные черными строками, называются газетами. Ты знаешь край, где ты свободно вполне можешь заявить, что погода дурна, что городские хороши и вежливы и что страна идет вперед...

Ты знаешь край, где, между прочим, полиция берет девушку и сажает ее под арест за то, что она не носит кринолина, где исправник порет купца за то, что купец не дает денег взаймы, где помещица задает *дранцию* (выражение это — собственность этой помещицы) посредством крапивной порки маленькой девочке двенадцати лет и присуждается к небольшому штрафу; где редактор Корш стыдит седины редактора Краевского, обвиняя его в клевете, и где редактор Краевский стыдит добросовестность редактора Корша, обвиняя его тоже в клевете; где оба вместе и каждый порознь со своими печатными листищами имеют такое же влияние на общественные порядки, какое мог бы иметь казачок Филька на действия приказчика, у которого он служит в качестве казачка; где на все «*новые*

* фактически (*лат.*).

меры» смотрят с тупоумным довольством, где, наконец, и может быть наказана *Франция* и не может.

Да... Вы знаете этот край, но зачем вы хотите удалить от глаз ваших все его недостатки? Лучше прямо взглянуть, чем утешать себя усыпительными заверениями и лепетать, что «наш край диво див».

Подобное самодовольство не может не напомнить мне кохинхинских (Кохинхина — соседка Китая) рапортов о благосостоянии края тамошних



ГОЛОДНО И ХОЛОДНО

Рисунок К. А. Савицкого, 1860-е гг.

Третьяковская галерея, Москва

губернаторов; рапорта эти являются в следующей форме (переведенной с подлинника на русский язык):

«Великий повелитель!

Тебя осмеливающиеся обожать и под твоим лучезарным сиянием блаженствующие аналиты (или *кохинхинцы*) не перестают просить богов о ниспослании тебе счастья на радость рабов твоих, которые живут, словно рыбы в воде, или птицы в воздухе, не зная ни нужды, ни горя, ни бед, ни несчастий и пр. и пр.».

Многие русские походят на тех индейских петухов, которые, гуляя по заднему двору, носят на своих птичьих лицах ужаснейшее самодовольство, воображая, что нет ничего лучше их самих и их вонючего, грязного заднего двора, в котором они копошатся, живут, подписывают, предписывают, словом, действуют...

Иначе трудно себе объяснить те толки и в печати, и в обществе, которые ведутся о гласном суде.

Сидят, положим, в кабинете два коренастых Петра Ивановича и млеют за отчетом процесса.

— Ну что, батенька, каково? Теперича, ежели у меня кто украдет со стола вещь, так вора быстро накажут... так ли?

— Еще бы... Именно быстро... Теперь свобода...

— Совершенно свобода, потому накажут по закону... Всё закон!

Ну, разве это не петухи с острова Борнео, петухи, воспитавшиеся русскими газетами, которые, словно неразумные ребята, из кожи лезут вон, чтоб доказать, что гласный суд лучше негласного суда, что розга хуже ласки. Ну, разве не смеялся бы надо мной всякий, еще из ума не выживший человек, если бы я стал на бочку и ну орать, что учиться, мол, полезно? И разве не становятся до отвращения противны эти защитники, по своей наивной глупости даже профанирующие мысль этих учреждений?..

— Гласный суд!.. Гласный суд!.. О, какое это блаженство!.. О, какое это счастье!.. Вот где самая суть-то!..

Так говорят эти Петры Ивановичи, и слезы текут по их лоснящимся щекам, в которых жир сквозит сквозь их мягкую, нежную кожу...

Они не хотят понять того, что гласный суд еще не разрешит главного вопроса бедных.

Они радуются потому, что еще лучше могут защищать собранный ими достаток, и скорей отошлют, по закону, в привольные края Сибири несчастного, который уворует пятак «со взломом».

Они не воображают, что есть и серьезные вещи, которые могут походить на кукольную комедию, развязка которой может часто зависеть от личных взглядов и личных вкусов... Они забывают все это и идут в окружной суд слушать дела преимущественно об уворывании пятачков «со взломом».

Как-то недавно я зашел в уголовный суд, где шло дело о краже, совершенной шестнадцатилетним мальчиком; я застал дело почти в конце, в тот момент, когда прокурор составляет обвинение человека и отправляет его в отдаленные места, а адвокат, напротив, старается оправдать человека... Публика не особенно была внимательна на этот раз, потому, верно, что действующие лица исполняли свои роли из рук вон плохо; адвокат не особенно искусно зывал к милосердию, а прокурор, очевидно, еще не приучился ясно и довольно громко посылать на поселение...

Обвиненный молодой мальчик сидел на скамье между двумя жандармами. Его лицо было симпатично. Черные глаза робко выглядывали из-под свежих, чистых щек и часто останавливались на судьях, которые, как следует судьям, имели на своих лицах то бесстрашие и холодность, к которым приучаются вследствие своих занятий. Наконец, дело было кончено. Господин прокурор еще раз пригласил присяжных наказать виновного, а господин адвокат еще раз пригласил принять в соображение молодость обвиненного. Президент суда сказал речь... длинную, сухую, толковую и холодную... смысл которой заключался в том, что справедливость должна руководствовать присяжных. Затем присяжные удалились, и публика заговорила:

— Надо быть присудят к поселению, — добродушно сказал толстый купчина.

— Ребенок ведь... несмысль... — заметил другой.

— А выпусти-кось, хуже будет. Станет убивать!..

— Эка ты... убивать!.. Вишь мальчик... Хлеба дадут и воровать не станет.

— А надо бы на поселение, — говорил какой-то бурбон.

— Еще бы, — вторил другой.

— Так молод и так испорчен, — заметкла птица из породы чижей со стеклышком.

Снова водворилась тишина, и присяжный старшина стал говорить да...

Мальчика обвинили, но со смягчающими обстоятельствами и приговорили его к трехмесячному заключению в тюрьме.

Его спросили: доволен ли он? Он отвечал: «доволен», и его увели. Судьба мальчика решена. Публика осталась ждать второго тиража, т. е. второго разбора дела; но я ушел вон и все-таки помнил, что два года тому назад этого мальчика ждала более тяжкая участь.

Ну, кажется, за что сердиться на суд. Добродетель все-таки торжествует, порок наказуется, как тому и следует быть в благоустроенных государствах, а между тем у нас существует порядочный кружок людей, который во всю силу своих осиплых глоток кричит с «Вестью» впереди, что государство гибнет, что суды не хороши, что они пристрастны к людям из низшего сословия и прочее, в этом роде. «Весть» систематически преследует мысль о сменяемости судей, о вмешательстве администрации, о назначении богатых людей на места мировых судей без гонорария. Не так давно даже явилось новое «слово» как продукт, вызванный мировыми учреждениями. Слово это — *энгелизм*. Почтенный моряк судился с портным и когда суд приговорил моряка заплатить портному деньги, то он препроводил в мировой съезд письмо, в котором обвинял судей в гибельном учении, подрывающем основы государства... словом, в *энгелизме*. Его отдали под уголовное преследование за такое письмо, а газеты стали глумиться над выдуманном словом почтенного моряка.

Слепые! Над кем вы строите свои глупые улыбки?.. Ведь над собой, а не над кем более... От кого же узнал наш моряк о словах, кончающихся на *изм*, как не от вас?.. Откуда он, удрученный годами и морскими путешествиями, мог научиться ограждать себя и чем, как не выдумкой такого же слова, какие выдумывали и вы для ограждения своих шкурок. Опомнитесь! Кого вы обвинили в пожарах и какими только *измами* вы не запугивали бедный русский люд?.. Кто, как не *изм*, воровал у вас четвертаки со столов и кто, как не он же, подрывал спокойствие вашего сна?

Почему же теперь вы глумитесь над делом рук своих?.. И отчего *энгелизм* хуже *нигилизма*?.. Вы — флюгарки, и даже не умеете быть последовательными, признавая свою последнюю выдумку и смеясь над новой... Вам следует защищать его, защищать почтенного адмирала и снова скрежетать зубами...

Или разве «Голос» переменял сразу свою физиономию, тот же «Голос», который кричал, что *нигилизм* — разврат?..

Или разве «С.-Петербургские ведомости» нынче думают иначе, чем думали, прорываясь время от времени подобными же выходками...

Или... О, народ!.. Он даже и последовательно быть глупым не умеет и смеет еще оставлять адмирала на произвол глумления и смеха... Смейтесь же, смейтесь... Только помните хорошо, что смеетесь над собой, а ни над кем больше!..

Я несколько не удивляюсь *энгелизму* контр-адмирала, как не удивляюсь *камертону* храброго капитана N... Но вы не знаете последней истории? Слушайте, она очень занимательна, и я вам ее расскажу.

На днях, во время присутствия мирового съезда, туда зачем-то понадобилось войти капитану N... Он подходит к двери, но дверь заперта. Он нажимает ее... она не отворяется... Капитан желает войти — и входит, но уже приглашенный председателем съезда. Ему говорят о неприличии его поступка и приглашают выйти вон... Но он требует слова и начинает слишком громко говорить и размахивать руками... Конечно, обо всем этом составили протокол и объявили капитану, что он за это отдан под прокурорский надзор. Обо всем этом было напечатано, и я уже жалел N.,

как вдруг неожиданно читаю его *объяснение* в «Голосе». Капитан объясняет, что он хотел войти в суд, потому что не было ярлычка, что вход запрещен, а что он говорил, мол, громко потому, что с ним не было *камертона!*.. Понимаете ли, господа, что за остряк г-н капитан!.. Камертона не было!?. Остроумно! — Дальше капитан заявляет, что обратили на его поступок особенное внимание потому, что он военный, и намекает, что военных будто бы теснят...

Нет! Хотя капитан столь же храбр, сколь и остроумен, но он право ошибается так же, как и мой дядюшка.

У меня есть дядюшка. Он стар, глух, состоит членом какого-то «совета» и часто подносит понюшку табаку вместо носа ко рту... Вот этот самый старик пришел в негодование, когда я пришел к нему.

— Как,— заговорил он,— капитану не позволить говорить?.. На что это похоже?.. К чему это ведет, спрашиваю? Кто, как не военные, поддерживают государство? Это ужасно...

— Прежде,— продолжал старец,— военные были не то... Не было, знаете ли, у них этого ангелизма (мой дядюшка совершенно серьезно повторяет слово моряка), а теперь... портиться стали... не то... вовсе не то... Гмм... Карбонаризм!..

Долго еще говорил дядюшка (а он считается человеком обширного ума) и даже не успокоился, когда я стал утешать его, что военное сословие вовсе не падает.

Старик слушал, и в потухающих глазах заблестал плотоядный огонь... Эта беззубая шавка на минуту заставила вспомнить о том, что и она была зубаста и зла... ох, как зла!!

И многие из породы старых беззубых волков зычно кричат при всяком деле, в котором их элемент рекомендует себя не с очень выгодной стороны... А он, как на зло, со времени гласного суда, то и дело показывает, что представители этого элемента любят производить операции ухарские. Стоит только вспомнить дело Гольского, историю харьковских кредиток и, наконец, дело г-на Огарева.

Г-н Огарев, видите ли, истратил на свои нужды маленькую сумму, в 100 тысяч рублей... Правда, во Владимире не было ни женского училища, для которого даже был куплен дом, но в котором г-н Огарев предпочел сам поместиться, ни библиотеки... Кажется, на эти 100 тысяч можно было бы много полезных дел сделать, но эти 100 тысяч улетучились... Тогда г-н Огарев, являсь в дворянское собрание, стал говорить речь, в которой заявил, что он... «милости просит... снисхождения...», и большинство благодушного дворянства хотело даже покрыть г-на Огарева, но местный прокурор заявил, что дворянство ни прощать, ни наказывать права не имеет, и предал г-на Огарева уголовному преследованию... А какими добрыми душами оказались было владимирские дворяне!

Воображаю, какой вой и скрежет зубовый подымет «Весть» после этого процесса... Эта газета в каждом номере рвет и мечет, хрипит, обливаясь пеной, и чего только не измышляет, чтобы уничтожить и те поскребки гласности, которые проявляются в последнее время...

Дело благородной дамы, о котором я упомянул выше, тоже интересная история, случившаяся в дальней провинции. Она, видите ли, секла девочку крапивой, отыскивая пропавший у нее кусок сахара... И когда ее за это мировой судья присудил к сорока рублям штрафа, то эта дама еще решилась подать апелляцию в мировой съезд, где пояснила, что, видя эту девочку, промышленавшую нищенством, она *содрогалась* при мысли о будущности этого ребенка и, по доброте своей благородной души, она взяла эту девочку себе, где она была, поясняет дама, скорей в *учении*, чем в *услуженьи*... «Верная своей цели — оградить ее от пороков, я начала с того, что доставила ей безбедное существование, я одела ее с ног до го-

ловы, снабдила всем нужным и дала ей содержание наравне с моею домашнею прислугой... Но я не исполнила бы своей задачи, если б ограничилась только материальным обеспечением... Я строго наблюдала за ее поступками и, к сожалению, не находила ничего утешительного в ее нравственности». Далее исправительница нравственности рассказывает, что будто девочка, о которой идет речь, лгала и будто бы воровала и, желая, мол, исправить ее, она «решилась в видах ее исправления наказать телесно (*или задать дранцию*). Но и тут, опасаясь, чтобы прислуга не слишком строго исполняла это исправительное наказание, я не решилась никому доверить эту девочку и дала ей несколько ударов». Тут благородная дама говорит весьма глухо, а между тем истица девочка на суде показывала, что эта сердобольная дама «била ее за пропавший сахар (несколько кусков) сперва башмаком по щекам, трепала за волосы и потом собственноручно секла крапивой, потом розгами; причем платье ее (этой девочки) и юбки были приподняты кверху и завязаны на голове».

Господа!.. Как вы думаете, что сделали бы за это в Англии или во Франции?.. Во-первых, там этому бы не поверили, но если б узнали, что это правда... плохо было бы этой истязательнице...

Недавно мировой судья выпустил из дома терпимости одну проститутку, разрешив ей жить, по смыслу закона, на вольной квартире. Так что же вы думаете сделал врачебно-полицейский комитет, наблюдающий за проститутками?.. Он подал жалобу на решение судьи, заявляя, что означенная проститутка должна была хозяйке, где жила, и что судья не имел права этого сделать... Дело, однако, решили в пользу приговора судьи г-на Неклюдова. А врачебно-полицейский комитет обязан заботиться о положении несчастных жертв.

Много было писано о проститутках... Их положение убийственно, и напрасно указывают на Лондон и Париж, говоря, что там их положение еще убийственней... Это правда, что в Лондоне эти парии рода человеческого ходят по ночам и зазывают к себе прохожих; некоторые даже спекулируют, жалуясь в суд на какое-нибудь известное лицо, которое будто бы им не заплатило... Но разве нет того же и в нашей столице?.. Я помню очень хорошо одну майскую ночь, когда я возвращался домой по Невскому... Вдруг ко мне подбежала женщина и стала просить четвертака... «Ради бога, дайте, — сказала она, — я день не ела... есть хочу». Я заглянул ей в лицо. Это было безобразное лицо... старое, в морщинах, прикрытое слоем белил и румян... ее платье было почти изорвано... ноги в каком-то подобии башмаков... Не кидайте в нее камня... Ей есть хочется!

Лучше не раскрывать светских драпри, потому что если раскроешь их, то увидишь картину хуже только что представленной..., увидишь разврат систематичный, разврат гастрономический, прикрытый именем, ханжеством и лицемерием... А тут нужда и обыкновенное начало *дранции* — в магазинах, где эти женщины начинают свою карьеру...

Поступает девочка в шейный магазин, и видит она только подзатыльники и гонки во все концы обширной столицы. Далее песня известная. Грошовая плата, опять побои, опять гонки. Конец этой песни — любовь... честная, чистая, как всякая первая любовь... Затем — ребенок... нищета и... дом терпимости... Женщина гибнет, она не доживает в большинстве случаев до сорока лет и умирает в больнице, проклиная свою жизнь. А кто виноват?.. Снова крадется вопрос труда и снова замирает среди грехота и шума и суеты столичной!..

Однако не довольно ли этих невеселых пейзажей для читателя и не хочет ли он на время отвернуться от этих фактов и взглянуть на другие.

Я хочу при этом верить моей бабушке, которая удивляется толкам о бедности России и нередко с досадой шамкает.

— Удивляюсь, право, удивляюсь... Чем мы бедны и где бедность! Фрукты везде есть, квартиры хорошие есть, материи в английском магазине есть... Где же бедность... Грубость вот в прислуге есть, а бедности нет!..

Теперь опять у нас гостит американская эскадра с знаменитым мобильским героем Форрагутом, храбрым адмиралом, одержавшим не мало побед над южанами... Но теперь наша публика, после ташкентцев и славян, кажется, угомонилась... Впрочем, слышно, в Кронштадте опять будут угощать американцев...

Вот тоже «Голос» говорит, что в пользу болгар собрал более 300 р. Молодец!.. Он удивительно добрый человек, этот «Голос», и свободолюбив, ох как свободолюбив! Болгары под игом, и «Голос» затевает революцию... помогает деньгами и печатает в своей газете чуть ли не прокламацию. Андрей Александрович Краевский! Вы ли это?.. Опомнитесь!..

Но он не хочет слушать и вместе с воскресным сотрудником кричит, что дело болгар — святое дело, что всякое иго — ужасная вещь, особенно турецкое... А Турцию Андрей Александрович так порочит, что даже страшно делается...

Что ж эти газеты орут?.. О, народ, народ! Молчали бы, печатая сведения о погоде и происшествиях, а не походили бы на тех сплетников, которые порочат чужие передние, не замечая грязи и духоты своих. И право, иногда даже и сердиться нельзя, а просто делается смешно, когда или «Голос», или «С.-Петербургские ведомости» вдруг обвиняют Турцию в недостатке свободы. Уж молчали бы лучше!..

Нет, языки чешутся у наших бестолковых политиков. Чешутся языки и лепечут они такую пошлость, что, я уверен, скоро и славяне отрекнутся от солидарности с этими господами, кивающими на сучок Ивана, тогда как у самих в глазах такое бревнище лежит, не заметить которое может только слепой... А туда же... «Турция, мол, деспотическая страна!! Во связь, мол, надо!..»

О, храбрые подстрекатели... Они, сидя в кабинете, хотят войны, не понимая этого ужасного слова... Они, изучая восточный вопрос, забывают первый вопрос в мире. Во имя чего будет война и чья кровь польется, бог знает за что? Плюньте скорей, читатель, и отправляйтесь со мной на петергофское гулянье!

Я был там вместе с другими, толкался, проиграл в лотерею один рубль серебром в пользу детских приютов и видел множество моих собратьев, ходивших, словно нищенки, с сумочками, куда они клали объедки подслушанных разговоров и новостей, чтоб преподнести их на следующее воскресенье публике... Больше я ничего не видал, а если и видел, то не имею намерения заниматься описанием фейерверка и лошади барона Фелейзена, бывшей в числе выигрышей... Замечу только, что «Голос» и по поводу этого гулянья не мог не сдурить и не заметить устами остроумнейшего в мире Х. Л., что слияние сословий на петергофском гулянье высказалось со всей силой и что день этот составляет эру, потому-де что барышни не гнушались продавать мужикам билетов и потому-де, что на гулянье пускали всех... Господи!.. Где начинается девятая верста и где кончается благоразумие газетчиков?.. Это так же трудно сказать, как трудно в настоящее время отличить дурака от умного человека. Вы только послушайте, как известнейший Поль Амбулатов рассуждает вообще о положении дел и о наших финансах в особенности. Он — финансист, и вся его фигура совершенно соответствует финансисту. Он считается умным, но я смею честно заверить, что это неправда. Он тип бюрократа умеренно-либеральной закваски... Он постепеновец и, вероятно, потому, что страдает затвердением мозга, и так как мозг размягчается с годами постепенно... Отсюда и слово — постепеновец. Он говорит, что если теперь позволить народные школы открывать кому вздумается, то

это будет вредно... потому... ну, потому, что это не постепенно, ибо, по его мнению, надо сперва замучить учащихся псалтырями, а потом, со временем, когда Россия поймет и когда гражданственность, так сказать... (тут советую читателю дополнить фразу какой-угодно белибердой), тогда можно учить и лучше. Пустить прямо женщину к занятию нельзя... Прежде, мол, надо позволить ей быть на телеграфах и там измышлять всякие сплетни на нее и потом... со временем, допустить женщину и учиться...



У РОДИЛЬНОГО ПРИЮТА

Рисунок П. М. Шмелькова, 1851 г.

Третьяковская галерея, Москва

Насчет богатства России этот умница придерживается очень остроумных взглядов... Он полагает, что мужик богат не должен быть и не может быть, потому что он пьяница и потому еще, «что тогда я и мы, вообще, не будем есть у господина князя Балебаева жирных устриц». Он — Поль Амбулатов — хорошо идет по службе и смотрит высоко... Это знает всякий и считает его умным человеком... И разве это неправда?

Это так же справедливо, как и то, что нынче вышел указ, устанавливающий цензуру для печатания отчетов собраний земства.

Читатель, вы, верно, переехали с дачи в город. Вам предстоит в городе много удовольствий: театры, опера итальянская и разборы дел у мировых судей, где снова появятся, конечно, курьезные истории.

Опера будет — радуйтесь, кому нужно и кто плакал о невозможности показать свои обнаженные плечи в двадцатипятирублевом месте. Опера будет, и состав ее вы можете прочесть в любой газете.

Русский театр ничего не обещает утешительного. Объявлена драма Стебницкого «Расточитель», но разве наперед нельзя сказать, что выйдет за штука, выходящая с ярлычком имени Стебницкого?.. Директор театров умер и назначен новый — г-н Гедеонов... Александринка по-старому будет показывать, как в фокусе, тупоумие и мрак российских мастеров драматического цеха и умение смешить публику кукишем или трогать завыванием и ударами в медные груди русских артистов... Все это могло бы быть иначе, но тогда и открывать театры мог бы всякий... Но все же играть будут пьесы, где, кроме лжи, нет ничего, за небольшими исключениями. И это произойдет оттого, что проскользнуть хорошей пьесе в Александринку так же трудно, как русской газете перестать врать... Все это будет; гражданские браки à la Чернявский возобновятся, и публика станет лезть на стену.

Виновата ли она?..

Будьте же счастливы и снова упивайтесь этою жизнью, что идет во круг... Эта жизнь делает свое дело... Она тянет в свою широкую пасть, словно боа ягненка, и нередко юноша, вступающий в нее свежим, непорочным, с ужасом видит, что он все ближе, ближе приближается к этой ужасной пасти; он противится... По его честному лицу катятся крупные слезы... Он снова борется и... или окончательно исчезает, или попадает в эту пасть и через несколько лет выглядывает оттуда в день нового года сияющий и радостный. Не удивляйтесь его радости...

Мир праху твоему, бывший юноша! И да подаст знание свою руку честному меньшинству, чтобы не попасть ему в эту ужасную пасть.

⟨V. СЕНТЯБРЬ 1867 г.⟩

Петербург кутит и, разумеется, кутит вполне благонамеренно. Петербург ездит по балам Благородного собрания и Марцинкевича; толкует вместе с «Голосом» о политике и знает даже, какие блюда изволит кушать Наполеон III и давно ли началась болезнь мозга у римского папы и абиссинского императора; одобряет и Гарибальди, и шпиона Грисчели; ходит в театры, одинаково похваливает и «Драматический подвиг» благородной дамы Себиновой и фельетоны Незнакомца, хорошо знакомого по взглядам и милейшему остроумию, и «Виноватую» А. Потехина, и гуманитарные идеи француженки Обре, и мысли редактора Богушевича... словом, все, начиная с ученых редакторов «Русского вестника», что в Москве, и думают завести классический университет на Страстном бульваре, до ученых блох, что в Пассаже. Это, конечно, рекомендует моих соотечественников с очень хорошей стороны и заставляет предположить, что ученые блохи и наострившиеся Богушевичи переживают теперь самое благоприятное время для своей благородной деятельности. О, это весьма поучительно и доказывает ни более, ни менее, как то, что пришла пора общего примирения, соглашения и умиления.

А где есть милейшее соглашение, там и преуспевание. Ergo* мы преуспеваем. Мне даже сдается, что нынешних деятелей, рекомендующих мне как вести себя, чтоб стать painькой, еще мало, как мало кажется одному моему знакомому городовых в нашей столице. И едва мне это показалось, как глазам моим явились новые деятели, в газетных объявлениях обещающие сделать; меня painькой в будущем 1868 году.

* Следовательно (лат.).

По правде сказать, это не новые, а старые деятели, только в новейшем переплете. Так, например, снова восстают из мертвых гг. Киркор и Юматов с «Новым временем» и снова просится к нам в губернеры наш старый приятель доктор Хан с «Славянскими отголосками», в которых напичканы самые разнообразные имена, начиная от А. Головацкого до знаменитых В. Иванова и М. Загуляева. Слышно, что скоро и г-н Карпович, имеющий Гласную кассу ссуд, будет издавать ежедневную газету для распространения в обществе здоровых мыслей касательно ростовщичества... Это уже, воистину, радостно, и неужто читатель не прольет двух, трех слезинок и не воскликнет со мной:

— Петербург! Ты стремишься быстро к цели!.. Ведут тебя, в числе прочих, Ханы, Богушевичи и Стебницкие. Молчите же, скептики, и не смейте пожимать плечами!..

Но, несмотря на такие восклицания, нет-нет, да и прорвется где-нибудь заметка, что новгородцы кушают хлеб из древесной коры и что финляндцы пекут блинчики из моху... Конечно, решительно все равно, что жрать: бифштекс или древесину, бульон или шпоре из моху; но все ж таки эти известица шокируют немножко и заставляют нас, между супом и соусом, подумать о том, что, мол, суп из говядины как-то вкуснее финляндского супа, потом запить эту думу красным вином и пойти прогуляться по Невскому для сварения желудка.

Я был как-то недавно там и видел много освещения, народу и жандармов. Я теснился в этой толпе и очень хорошо слышал, как она похваливала эти огни и вообще всю блестящую картину. Действительно, картина была недурна. Огонь блистал чрезвычайно ярко, не забывая наделить светом и господина, довольно глубокомысленно выглядывавшего из окон кареты, точно Скарятин из-под прозрачных строчек «Вести», и жирномилое в своем самодовольствии личико расплывшегося и препочтенного *мещанина*, только что сейчас обливавшего жареную куропатку и прочитавшего биржевую хронику «Голоса», в которой так же *крепко*, как в голове у хроникера «Литературной библиотеки» и мирного пролетария из-под Сенной — пролетария с небритой бородой и таким тощим брюхом, какое, по штату, полагается только жеребцу, готовящемуся к скачкам. Все осветилось, начиная от наштукатуренной мегеры Сенной площади, до отмечающего у горящей звезды какого-то отметчика, собирающегося завтра сообщить мне и вам, читатели, о великолепии картины, расстилающейся перед его (этого отметчика) глазами.

Но толпа не глядела на все эти детали и вовсе не обобщала частных и, как я уже сказал, похваливала и огни, и бюстителей своей нравственности. Первых за то, что они так ярко освещают, а вторых за то, что они так хорошо просвещают неразумных, преступающих определенную черту, и за то... ну за то, что толпа может быть вполне спокойна, зная, что есть люди... много, много людей, которые о ней заботятся, за ней наблюдают, ее предохраняют, предупредомляют и, в случае какой-нибудь шалости, как прежде не говорят: «Эй ты, холопская харя, куды лезешь!» — а обращаются *деликатно*. Вот до чего, обобщая частности до общей картины, дошел прогресс, и вот почему мне, как и всем, было приятно и весело. Это еще не всё! Я сам, честное слово, сам видел, как в тот же вечер кучка рабочих плакала от умиления, выходя из кабака, где она оставила все то, что осталось у ней от расчета с подрядчиком. В тот же вечер и подрядчик в свою очередь плакал от умиления в ложе Михайловского театра, глядя в изящный бинокль на гуманные идеи мадам Обре, в длинном шлейфе изображенной г-жею Напталъ-Арно. Да и нельзя было не плакать, в самом деле! Во-первых, французенка Обре, сочинения Дюма-сына, такая сердобольная дама, что воображает избавить мир от так называемых «падших» женщин мягкими речами, мягким обращением да участием к

незаконнорожденным детям. (А этого участия у самого подрядчика было много, так как он всех своих незаконнорожденных детей отлично пристроил в Воспитательном доме.) Во-вторых, *кокодеc* Дьедоне был так мил и так хорошо рассказывал о любви страстной, что нельзя было не умиляться. В-третьих, его собственная, подрядчикова, «канарейка», которую он вовсе не думал обращать на путь истины, а которую, напротив, он весьма грязно обратил из швеек в кокотки, ждала его к себе после театра пить чай и, наконец, в-четвертых... Стелла такая хорошенькая, а Лагранж-Белькур в такой коротенькой юбочке?! Как же тут не умилиться, как же тут не заплакать...

А толпа на улице все росла и росла, и средь говора и шума ясно слышались одобрительные восклицания:

— Лиминация вò какая!— объясняет подвыпивший мещанинишка приятелю в синей сибирке и, ради похвалыбы, хлопает товарища по плечу.

— Чать, тоже денег сто́ит?..

— Денег?!. Што деньги!.. Ты погляди, как звездочки горят!

— А што, Микитка, кабы нам да по махонькой звездочке... Ась?

— Хоша-бы по полу-звездочке!

— Эх, паря... Пойдем, попытаю я хвабрика и ты хвабрика, и нечего про звезды-те толковать...

— Эка необразованность!— лепечет сзади уходивших мастеровых писарь военного ведомства.— Не понимают того, что иллюминация дело самое благородное, душе спокойное и для глаз приятное... Как вы находите, господин? — обратился писарь ко мне...

Но я не отвечал потому, что тискался вперед, желая выйти из этой толпы на привольный воздух. Я шел все вперед и увидел кучу немецких сапожников, громко рассуждающих и размахивающих руками... Среди их речей ясно выдавались слова: «Herr Kraevsky... verfluchter „Goloss“» * и прочее в этакое же роде. Сапожники долго говорили, громко жалуясь на судьбу и на редактора Краевского. Я скоро понял, в чем дело. Они прочли передовые статьи «Голоса» и горько судили о том, скоро ли их будут обращать в русские и когда им будут менять фамилии, и позволят ли им, честным немцам, называться Шульцами и Шмидтами на зло «Голосу».

В самом деле, патриотизм у нас достиг в настоящее время таких геркулесовых столбов, что решительно хочет даже, чтобы иностранцы в России не носили своих фамилий. Последнее обстоятельство патриоту-«Голосу» причиняет такую боль, что он настойчиво требует переименовать все фамилии немцев, поляков и евреев в русские.

Вы, пожалуй, не верите, читатель, и думаете, что я шучу? Вы не можете предположить, чтобы известного рода замашки заходили так далеко. Но я смею вас уверить, что все эти предложения самого деликатного сорта очень красиво напечатаны в нескольких номерах «Голоса», напечатаны довольно крупным шрифтом и скреплены редакторской подписью для того, чтобы всякий видел, что статья вышла не из сумасшедшего дома, а прямешенько-таки из типографии А. А. Краевского (Литейная, дом № 38).

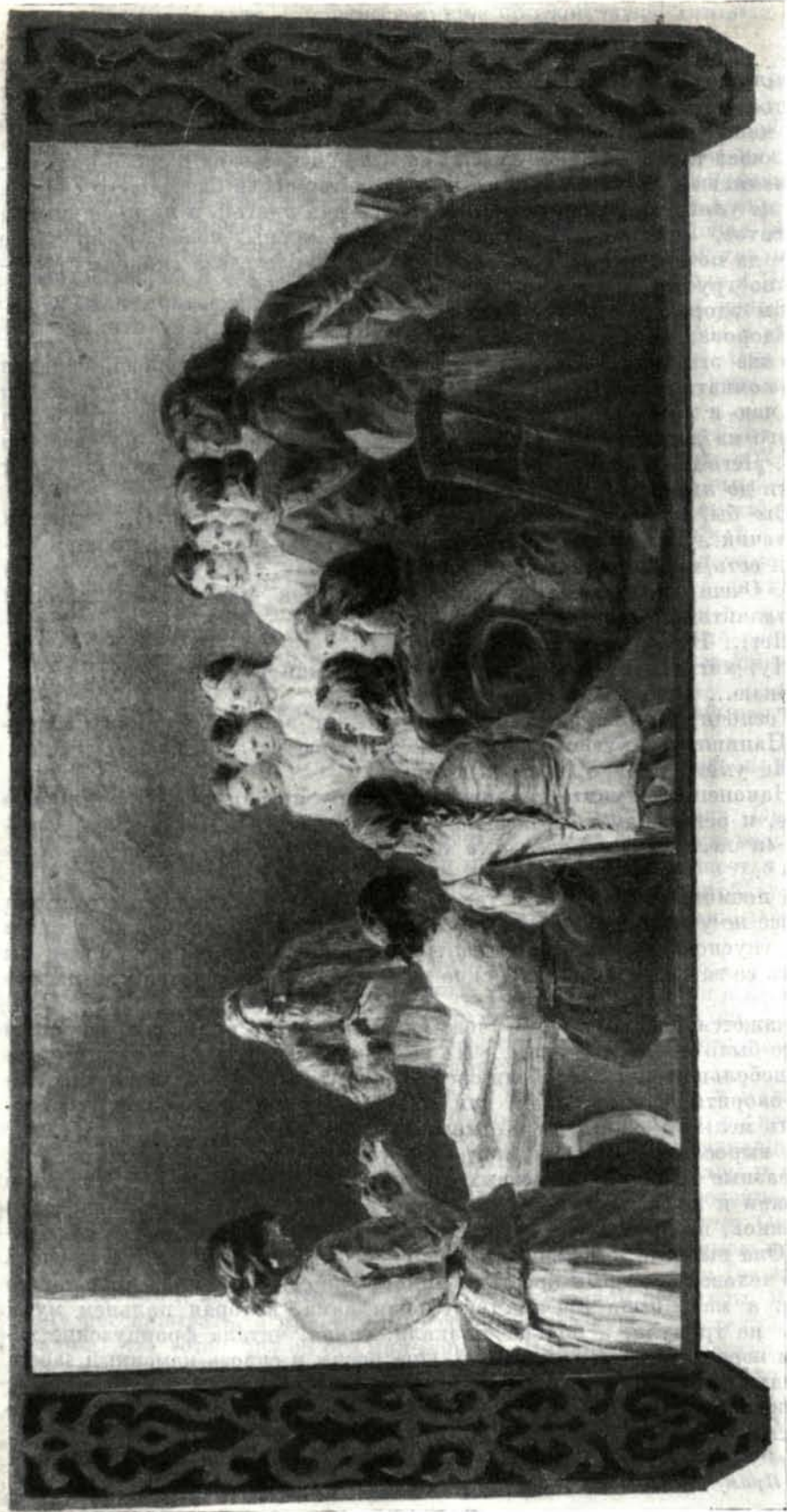
Бедные немцы! Они долго еще рассуждали и, как кажется, решили не пить вовсе сапог русскому патриоту; а если и пить, то такие тесные, чтобы в них патриот немножко стеснялся...

Наконец, я вышел из толпы, сел на извозчика и поехал в гости.

— Ну, брат, скоро в русские немцев припишут!..— Извозчик посмотрел на меня, словно на опалелого, и заметил:

— Нешто немец в охоту пойдет?.. Ты, барин, не врешь ли? Ведь кто, как не немец, и шарманку с обезьяной выдумал?

* Господин Краевский... проклятый «Голос» (нем.).



КУРСИСТКИ НА ЭКЗАМЕНЕ У ПРОФЕССОРА ГРУБЕРА

Акварель Н. А. Ярошенко, 1887 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

Я было хотел пуститься в объяснения, но извозчик оказался решительно неспособным понимать передовые статьи и весьма насмешливо посмотрел на меня, передавая сдачу, как мы подъехали к дому.

Я взвошел к одной знакомой барыне. Она сидела одна в своей комнате, представившей удивительно мрачный характер после блестящего света и говора на улице. Молодая женщина сидела над книгой, и лицо ее, слегка бледноватое, оттененное прядью блестящих черных волос, было такое больное да печальное, ее большие ласковые карие глаза глядели так неподвижно грустно и сосредоточенно, что я спросил:

— Вы здоровы?

— Здорова, — ответила она.

Что же это такое? — подумал я. Кажется, барыня здорова, сидит в теплой комнате, читает умные книжки, за обедом имеет два блюда, вволю пьет и чаю и кофе, имеет мужа, правда, мужа весьма недалекого, более похожего на деревянный чурбан с отверстием для пищи, но все же мужа... Чего ж ей еще! Сошлюсь на всех умных людей, начиная с моей бабушки до литератора В. Иванова, чего ж ей еще?..

— Вы бы, говорю, прочли «Литературную библиотеку»... Славный журнальчик... Издается в трех отделениях... Так вот там в третьем отделении есть весьма милая статейка о женщинах... Их «стервозами» там зовут... Очень, мол, забавно, и писал то ее, как мне сказывали, один очень талантливый отставной квартальный.

— Нет... Не хочется...

— Ну, хоть бы почитали, как г-н Краевский Россию любит!

— Знаю... Он ее очень любит!

— Господи! Ну, наконец, свершите подвиг вроде россиянки Себиновой... Напишите такую же умнейшую комедию из абиссинских нравов.

— Не умею, да и в Москве не жила.

— Наконец, поступите к Бергу или ходите по канату... Это отличное занятие, и рекомендует его весьма умный человек г-н Незнакомец, у которого *«и ноги совсем окрепли, и колени выработаны совершенно правильно»**.

Она посмотрела на меня и так посмотрела, что я увидел, что шутка тут вовсе не у места и что только люди, глядящие на мир божий с точки зрения гнусного эгоизма и пятиалтынного либеральничания, могли бы обзвать ее за такие антимеританские выходки каким-нибудь игривым эпитетом.

А, кажется, и взаправду — чего ей? У нее было порядочно знаний и когда-то было порядочно силы... Но ей некуда было приложить этих знаний, а небольшие силы ослабели среди общих толков о том, может ли женщина говорить, как мужчина, или не может, и среди назойливых поисков хоть мелкого счастья в отменях общественных предрассудков.

Она выросла в то время, когда Богушевичи не издавали журналов, когда разные Незнакомцы не выходили на публичную арену в красивом всеоружии и когда всем тем, кто стриг волосы, носил очки и не носил кринолинов, не предлагали волчьих билетов и не называли еще «стервозами». Она выросла в большом помещичьем доме, и отец у нее был очень добрый человек, который крестьян никогда не сек розгами, а бил просто руками; а мать была пречувствительная дама, которая пальцем мухи никогда не тронула, а больше плакала, спала, читала французские истории и изредка бивала горничную. Она росла, и сквозь каменный забор, сложившийся историей и о сию пору поддерживаемый В. Скарятиним и прочими молодцами, забор, отделявший ее, дворяночку, от остального

* Это выражение заимствовано из фельетона «С.-Петербургских ведомостей». — *Прим. Слепцова.*

мира, до нее доносились непривычные ей речи и грохот работающих крестьян. Ее крепко держали за этим забором; но молодая натура чутче старой, молодая кровь быстрее старой... И она украдкой убежала в поле и удивленно смотрела своими ласковыми глазенками на мозолистые руки и попурые лица и испуганно слушала эти странные, простые и тяжелые речи. Еще странней казались ей эти речи, когда она возвращалась в душевные свои комнаты... Она росла и училась. К ней попал учителем тогдашний либерал и теперешний сотрудник Каткова. Он ей говорил, что свобода хороша и что Никишка тоже человек; но что свобода и Никишка никогда не совместятся, потому что в мире всем сыто есть нельзя, ну и потому, что утопии не идут для благородного джентльмена и для self-government'a * (тогда «Русский вестник» был англичанином). Она все это слушала и жадно слушала, впиваясь в каждое слово. Она читала много и в один прекрасный день приехала в Петербург...

Барыня моя поослабела и вышла замуж. Не корите ее, что она сделала ошибку, потому что не делают ошибок только умницы: доктор Хан и редактор Трубников. Остальные смертные их делают... Она вышла замуж за человека, который более всего на свете любит битки со сметаной и полагает, что он живет собственно для того, чтобы утром пить чай, а в 4 часа обедать, вечером пить опять чай, потом поужинать и задать отличную высьпку... Словом, это очень милый человек, но... но... деревянный чурбан. Молодая женщина тоже ест, пьет, спит, читает, живя в этой грязи мелочной, надоедливой и, как мед, липкой, и смотрит часто своими карими глазами на газетные листики и видит в них вместо строк все лица из сумасшедшего дома.

И изредка она грустно глядит вперед и говорит, прочитывая об иностранной жизни:

— Жить хочется... Жить! У меня знания есть... Куда приложить их, куда?

На все это ждать ответа надо от редактора Богушевича. Он лучше всех нас знает, какой дать ответ. Обзовет ли он всех снова стервозами или иначе — так тому и быть. Значит, так нужно и, значит, общество требует весьма мало дельных женщин. И за это надо поклониться, поблагодарить и узнать: позволит ли общество хоть г-же Сусловой практиковать в любезном отечестве или не позволит?..

Но пока еще читатель не знает, куда приведут нас, я поведу читателя к благородному семейству гг. *Умецких*. Конечно, ни вы, ни я не назовем их *господ Умецких* виноватыми. Это было бы нелепо. Они — результат обстоятельств известного вида. Ну, так давайте глядеть на обстоятельства. Пример налицо, и вы слушайте:

Это дело было в одной из деревень и разбиралось оно в Каширском окружном суде. Разбирательство это было напечатано почти во всех газетах. Главное действующее лицо тут — молодая девушка, пятнадцати лет, Ольга Умецкая, «блондинка среднего роста с румяным лицом и голубыми глазами. Выражение лица — детски пугливое и сосредоточенное. Говорит тихо, смущается и краснеет», — как говорит судебный отчет. Она росла в семье, в которой не было особенного ладу, и росла оставленною на произвол судьбы относительно образования и воспитания. Что же касается до отношений к ней родителей, то они были слишком печальны. Я сам не стану рассказывать, а приведу, что говорили на суде свидетели. Первый говорил, что «отец бил ее без милосердия. Накануне последнего пожара отец немилосердно избил свою дочь. Она даже собиралась бежать от отца»; второй: что «малолетние дети, по скупости родителей, получали не вполне здоровую пищу, состоящую из затхлого хлеба», и что «Умецкий

* самоуправления (англ.).

смотрел на детей только как на даровых работников»; третий: что «дети едва ли чем другим могли заимствоваться от родителей, кроме нравственного уродства»; четвертый: что «эти родители самые скверные враги своего семейства»... Я не перечисляю других подобных же свидетельств. Мне кажется, что и с этими глазами читателя представляется беспощадная картина, способная перенести его куда-нибудь на далекие острова Тихого океана к дикарям. Эту девушку били безменом, секли, даже вывихнули палец. Чтобы понять, какой страх внушали ей родители, о слепом повиновении к которым твердят всегда так мило, я приведу глубокотрогательный по простоте и наивности отрывок из рассказа на суде этой жертвы родительского произвола:

«Мы босиком ходили, нам по два дня ничего есть не давали..., а на третей, бывало, дадут кусок хлеба да три картошки, так что мы от голоду у крестьян побирались (*заметьте: Умецкие были достаточные люди*), они нас кормили. Нас заставляли коров доить, полоть, снопы возить... Раз меня с работником послали 16 коров доить; когда мы подоили часть коров, работник мне и говорит: посидите, барышня, а я остальных подою... Я села да и заснула... Устала очень, нам спать по ночам почти что и не приходилось... Когда я спала, свиньи пришли да и выпили все молоко... А работник в это время одно ведро с молоком отнес. Папаша его спрашивает: где Ольга? Он говорит: я думал, что она пришла... Работник приходит ко мне, говорит: Идите, барышня, к папаше. Я говорю, как мне быть: молока у меня нет... Скажу, что одно ведро только надоили... Нет, говорит, нельзя этого сказать: я уже сказал, что мы три ведра надоили... Пришла я домой и рассказала: меня папаша больно отколоти. Потом мамаша таскала за волосы... ногами толкали».

Кажется, нечего прибавлять к этому безыскусственному рассказу. Кажется, не мудрено, что у человека, не окончательно пропавшего, станет дыбом волос от подобных речей пятнадцатилетней девочки. Кажется, так? Но ведь Умецкие не одни в России? Ведь и об этом никто не станет спорить. И если они не доходят до крайностей *безмена* и порки, то разве от этого вопрос теряет свою силу? Разве брань, воркотня, не производят подобного же действия?..

Так непоследовательны всегда бывают люди, если в голове у них нет ни определенного плана, ни цели. И эта непоследовательность сильно недавно сказалась на рабочих на Суксунском заводе в Пермской губернии. Дело было такое: Де-Сен-Лоран с дочерью и с доктором г-ном Щербаковым отправились как-то покататься верхом и, катаясь, попали на пожар в село Советное. Мужики, у которых пожар отнял все и которые, значит, были в самом экзальтированном (на ту минуту) положении, схватили приезжих и стали их неистово бить, предполагая, что они «поляки-поджигатели». Действительно, их истязали неистово, все в том же предположении, что они «поляки-поджигатели». Так прошла ночь. Но на утро плохо пришлось мужикам. Нарядили следствие. Пятерых заковали, и так как Пермская губерния недалеко от Сибири, то надо предполагать, что им ее не миновать.

Кто же заставлял обывателей чуть ли не рвать на кусочки человека, почему бы то ни было подозрительного во время пожара? Все она, журналистика наша. Полагаю, что эти мнения проникли и к Суксунскому заводу. И вот в селе пожар. Люди — бедные, необразованные люди — сразу лишаются всего. А это все, хоть и микроскопически малое, им далось тяжело... Полоумные от злобы и бешенства они встречают гуляющих посторонних людей. Ясно человеку, мало-мальски знакомому с отравлениями мозга, напуганного «журнальными поджигателями», что у погоревших неминуемо должно возникнуть подозрение. И только что оно возникло — следствия понятны...

Конечно, нам всем весьма жаль пострадавших, так сказать, за «Московские ведомости», господ Де-Сен-Лоран и доктора Щербакова; но если они поклонники их, то они должны были бы похлопотать за крестьян, а не писать таких чувствительных писем, как было напечатано в «С.-Петербургских ведомостях». Ведь опять же это весьма нелогично.

Однако я заговорился о чудесной российской нелогичности, от которой все ж таки простому человеку солоно достается, и ушел в своих скромных заметках далеко от Петербурга. Впрочем, ведь наша столица не иностранная же, а тоже русская, хоть глубокомысленный фельетонист «Голоса» и сердится, что здесь много французов и что они нахальны в своих суждениях не меньше... да не меньше того же фельетониста... Видите ли, Петербург тоже слушает часто дела весьма курьезные. Так, например, недавно было дело, возникшее из 45 коп. Из-за этих копеек человек высидел в тюрьме и хоть выпущен был на свободу, но не особенно ей обрадовался: там, на свободе, жевать ему было решительно нечего. А и дело-то было вот какого рода. Квартальный, например, донес следователю, что подсудимый (К. С. Серговский) был представлен в квартал маркером Семеновым. Спросили Семенова. Оказалось, что Семенов и видом не видал г-на Серговского и не мог отводить Серговского из гостиницы «Лондон» (где дело началось и где Серговский не заплатил за закуску 45 коп.), ибо там в то время не жил. Полицейский пристав дал новый отзыв и заявил, что Серговского привел не Семенов, а Корней Иванов. Спросили у Корнея Иванова. Оказалось, что и Корней Иванов в глаза не знает г-на Серговского.

Однако бросим-ка эти чудеса. Их так много, что всех и не опишешь. Что еще делает Петербург? — спросит иногородный читатель. А то, что и делал, т. е. ровно ничего. Я даже удивляюсь, как еще у вас язык подымается на такой вопрос, как удивляюсь, когда люди серьезно говорят о нашей общественной жизни. Русская общественная жизнь. Ха, ха, ха! Общественная! Я знаю жизнь на Невском, жизнь сплетен, жизнь в театрах, жизнь за табелькой, но общественной не знаю и, надеюсь, догадаетесь почему...

А если еще угодно судить о петербургской логичности, так я заключу свои заметки рассказом о Гарибальди.

Не то диво, что Гарибальди бил «папалинов»* и с горстью храбрецов отступил от французов и папистов, а то диво, что и у нас «генерал от инфантерии Гарибальди», как называют его некоторые, как будто бы возбуждает сочувствие и даже (о, ужас!) всякой уважающей себя газетой называется хорошим патриотом и энергичным деятелем. Но знаете ли, что, господа? Мне сдается, что все это сочувствие, прикрытое толстым слоем типографской краски, так же искренно, как искренен может быть волк относительно зайца. Вот это-то и печалит меня и до того печалит, что я готов был бы горько расплакаться над таким развратом, если б не видал, как из-за строчек различных передовых статей, фельетонов, заметок, обозрений и критик выглядывает маленький человек с гусиным пером за ухом и с улыбкой на устах, лепечущий, что подписка, мол, принимается там-то и там-то и что за год вы обязаны заплатить 16, а за полгода 8 руб.; что вы, поймав, таким образом, хвост какого-нибудь Х. Л., когда он шевелится между строчками, начинаете очень шибко и неблагоспристойно смеяться, за что на вас рассердится сочинитель г-н Афанасьев-Чужбинский, если только увидит это, ибо он (сочинитель г-н Афанасьев-Чужбинский) нарочно и сочиняет так, чтобы читатель скучал и шибко скучал. Таким образом, на вас находит хорошее расположение духа, и вы уже можете обдумывать с глазами, не отуманенными слезой, почему

* От итальянского «papalino» — папский. — *Ред.*

Гарибальди не может и не должен возбуждать сочувствие у россиян вообще и у единомышленников газет в особенности. Я надеюсь даже на то, что когда я напомину вам, что ни в обеих столицах, ни в Калуге, ни в Астрахани, ни в Тамбове, ни в Архангельске нет фамилии подобной «генералу от инфантерии Гарибальди», то вы окончательно должны понять, что и тени сочувствия у россиян к Гарибальди быть не смеет.

О, жалкие, презренные иностранцы! О, исчадие запада, не могущие выпить десяти бутылок квасу и сожрать куска черного хлеба! О, вы, ничтожные! Мы всё это можем. Вот мы каковы... Мы сильны тем, что у нас есть г-н Богушевич и г-н Стебницкий и миллионы этих Богушевичей и Стебницких. Они, словно сеть, окунули наше отечество и вылавливают все, что могут, для блага родины и народа.

Что ж я-то... Хотел было показать логичность Петербурга, а спел чуть ли не панегирик! Ну, да все равно.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Помещаемая здесь статья Слепцова «Женское дело» не является повинкой для исследователей жизни и литературной деятельности писателя. Статья была написана в качестве «передовицы» для первого номера журнала «Женский вестник», вышедшего в сентябре 1866 г. Она появилась в печати с полной подписью Слепцова. Однако с тех пор вот уже почти столетие эта статья не перепечатывалась и не вошла в существующие собрания сочинений писателя. Между тем она представляет существенный интерес не только как основа публикуемого публицистического цикла Слепцова из «Женского вестника» — «Новости петербургской жизни», но и как один из программных документов женского демократического движения шестидесятых годов.

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

Когда принимаются за дело и притом за такое дело, которое почему-нибудь считают очень важным и очень полезным, то обыкновенно начинают с того, что стараются, как можно короче, ознакомиться с самою сущностью дела. Для этого собирают всякого рода сведения, к делу относящиеся, и наводят справки. Таким образом узнают, в каком положении оно находилось прежде, как смотрели на него предшественники и в каком отношении стоят к нему современники; какие условия были благоприятны, какие мешали ходу дела и т. д. Эти сведения необходимы для каждого, желающего ознакомиться с делом основательно, потому что с помощью этих сведений только и можно составить себе более или менее правильное понятие о том, как следует поступать в настоящем случае. А когда сложится это понятие, тогда уже не трудно будет выбрать тот или другой прием для практического действия.

Таким образом поступают деловые люди, принимаясь за какое-нибудь новое или малоизвестное практическое дело. Да так и следует начинать. Житейский опыт показывает, что если к делу, начатому по этому способу, еще приложить некоторую долю терпения и добросовестности, то почти наверное можно рассчитывать на успех. Отличительный признак практических дел именно в том и состоит, что шансы как успеха, так и неудачи почти всегда могут быть определены заранее, с большею или меньшею вероятностью, разумеется; и для этого требуется одно только условие: математическая верность в расчете. А если он сделан безошибочно, тогда самое производство дела совершается уже механически.

Но тот же опыт показывает нам, что не всякое дело, имеющее практическую цель, может быть ведено с помощью обыкновенных рутинных приемов. Бывают дела особого рода, которые хотя и кажутся на первый

взгляд обыкновенными практическими делами, но обладают в то же время такими свойствами, что ставить их наряду с прочими было бы неосновательно; да и самые практические приемы, которые употребляются в делах подобного рода, большею частию бывают совершенно особенные, только им одним свойственные, новые приемы, о которых заранее нельзя даже и сказать ничего положительного. Особенность этих дел зависит от особенной важности тех интересов, во имя которых они начинаются; а так как начинания делаются не антрепренерами, а самою жизнью и в основание никакого капитала не полагается, то и сама постановка дела бывает совершенно особенная. Впрочем, это само собою разумеется, если принять в соображение обстоятельства дела: во-первых, громадность задачи, лежащей в основании; во-вторых, необыкновенную ширину поприща, на котором дело производится, и, наконец, то, что число лиц, участвующих и заинтересованных в деле, никогда с точностию определено быть не может. Что же касается главной цели, то она, обыкновенно, отличается каким-то легкомыслием и даже кажется совершенно несбыточною, потому что всегда бывает направлена к пользе не одного какого-нибудь лица или общества, а всего человечества. Такая неопределенность во всех отношениях, совершенно невысказанная в практическом деле, сообщает всей физиономии дела характер какой-то шаткости и непрочности; и это тем более кажется очевидным, что сами участники в редких случаях могут сообщить положительные сведения о своем деле и даже относительно главной цели его имеют весьма смутное понятие, стремятся к ней самыми разнообразными путями и надеются достичь ее самыми разнородными средствами.

Но, несмотря на видимую шаткость основания, на всю неопределенность задачи, несмотря на бездну заключенных в ней противоречий с действительностью, на бесчисленные несообразности, замечаемые вначале, на препятствия и недоброжелательство, несмотря на все это, дела подобного рода имеют успех.

Случается, что, вследствие стечения разных особенно неблагоприятных обстоятельств, дело приостанавливается на время и даже иногда как будто совсем прекращается; но это не надолго: пройдет два-три года, условия изменятся, и дело опять поднимается на ноги и, наконец, приносит плоды, превосходящие самые блистательные надежды людей, видевших первые робкие попытки. Причина такого успеха, несмотря на кажущееся противоречие, имеет, однако, разумное основание: успех в этом случае так же, как и в обыкновенном практическом деле, основан на расчете, хотя в делах подобного рода заранее вычислений не производится; да это и бесполезно, потому-то пока само общество не найдет нужным начать дело, никакие вычисления ни к чему не послужат. Расчет здесь бывает тоже особенный и совершается почти одновременно в уме огромного числа лиц, большею частию не имеющих друг о друге никакого понятия. Для этого берутся не цифры, а такие требования, которые цифрами определены быть не могут. Вычисления с этими величинами каждый делает только для себя одного. Но если положение этих лиц одинаково, то и результаты их вычислений должны выходить тоже одинаковые, т. е. у всех окажутся однородные требования. Из этих требований составляется одно общее, которое и побуждает всех стремиться в одном известном направлении и действовать в одном и том же духе. Разнообразие элементов, из которых слагается одно общее требование, придает общему делу необыкновенную прочность, делает его способным преодолевать всевозможные препятствия и, несмотря ни на что, все-таки добиваться цели; но зато это же разнообразие и разрозненность лиц, участвующих в деле, служит причиною того, что цель достигается очень не скоро. Пока каждый отдельно дойдет до необходимости принять ту или другую меру, которые уже

приняли другие, пройдут года. Пространство, различие в образе мыслей, воспитании, общественном положении — все это служит препятствием к сближению и, следовательно, замедляет ход дела. Поэтому для успеха такого дела особенно важно, чтобы все, считающие себя участниками в деле, прежде, нежели решиться на какой-нибудь образ действий, могли сойтись в общих основаниях и условиться относительно одной общей цели. А для этого необходимо ясно определить эту цель. Если такое соглашение состоится, тогда уже не будет никакой надобности рассуждать о частных применениях главной идеи. Тогда каждый сам изберет себе занятие, сообразное со своими силами и способностями, и уже сам будет знать, как ему следует поступать в том или другом случае в интересах общего дела.

Движение, известное в нашем обществе под названием «женского дела», по нашему мнению, принадлежит именно к числу таких особенных дел.

Что такое «женский вопрос» и в чем тут дело, кажется, всем должно быть известно; но, несмотря на это, однако, если предположить, что нашелся бы такой человек, который никогда не слышал об этом вопросе, и если бы этот человек пожелал составить о нем понятие на основании только одних существующих в обществе мнений, то ему пришлось бы, вероятно, долго ломать голову и переходить от одного заблуждения к другому прежде, чем добиться, в чем тут дело. Самые разнообразные, один другому противоречащие толки, неясность и неопределенность цели и в то же время необыкновенное обилие различных, по-видимому, ни на чем не основанных попыток и, наконец, крайняя шаткость и даже какая-то неуловимость самого дела — все эти явления составляют как будто неотъемлемые характеристические свойства женского дела. К этому до последней крайности невыгодному положению следует прибавить еще внешнее неблагоприятное влияние, как, например, недоброжелательство со стороны самой солидной части общества, недоброжелательство, доходящее до того, что человек, заинтересованный в этом деле и принимающий в нем слишком живое участие, теряет право на репутацию серьезного и солидного человека. На постороннего наблюдателя, незнакомого с подобного рода делами, такая обстановка должна, разумеется, произвести не совсем хорошее впечатление. Но если этот наблюдатель обладает способностью не поддаваться влиянию одних только наружных качеств и сумеет, несмотря на внешнюю неблагоприятность, проникнуть в самую сущность дела, то он поймет, конечно, что здесь происходит нечто очень серьезное. Если же он, кроме того, из множества разнорядных мнений может составлять одно общее понятие и на основании многих мелких целей дойти до главной, то он неминуемо придет к убеждению, что в основании женского дела положены идеи, от которых человечество вправе ожидать самых плодотворных результатов, что задача этого дела, несмотря на свой специальный характер, клонится к пользе всех людей вообще, без различия пола, и имеет в виду установить между ними лучшие отношения.

Такое дело может смело требовать от человека, чтобы он отдал ему все силы. Этому делу и мы желаем посвятить всю нашу деятельность.